

Татьяна Толстая

Не кись



рассказы

Татьяна Никитична Толстая Не кысь (сборник)

Студия Артемия Лебедева
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145325

Аннотация

В этом сборнике собраны лучшие рассказы, статьи, эссе и интервью Татьяны Толстой. Лирическая, остроумная, ироничная и пронизанная ностальгией по детству книга доставит читателю истинное удовольствие.

Содержание

Москва	4
Окошко	4
Милая Шура	12
Факир	17
Лимпопо	28
Охота на мамонта	55
Спи спокойно, сынок	60
Круг	65
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Татьяна Толстая

Не Кысь

Рассказы

Москва

Окошко

Шульгин часто, раз в неделю уж непременно, а то и два, ходил к соседу играть в нарды. Игра глуповатая, не то что шахматы, но тоже увлекательная. Шульгин сначала стеснялся немножко, потому что в нарды только чучмеки играют, – шеш-беш, черемша-урюк, – но потом привык. Сосед, Фролов Валера, тоже был чистый славянин, никакой не мандаринщик.

Кофе сварят, все интеллигентно, и к доске. Поговорить тоже.

– Как думаешь, Касьянова снимут?

– Должны вроде.

Каждый раз у Фролова Валеры в квартире появлялось что-нибудь новое. Чайник электрический. Набор шампуров с мангалом. Радиотелефон в виде дамской туфельки, красный. Большие часы напольные гжель. Вещи красивые, но ненужные. Часы, например, полкомнаты занимают, но не идут.

Шульгин спросит:

– Это новое у тебя?

А Фролов:

– Да... так...

Шульгин заметит:

– Вроде телевизор у тебя прошлый раз меньше был?

– Да телевизор как телевизор.

Потом один раз вообще весь угол картонными ящиками завален стоял. Фролов отлучился кофе сварить, а Шульгин отогнул и посмотрел: вроде что-то женское, из кожзаменителя.

Наконец во вторник смотрит – а там, где раньше сервант стоял, теперь арка прорезана, а за ней целая комната. Никогда там раньше комнаты не было. Да и быть не могло – там же торец дома. А поверху арки, на гвоздиках – пластмассовый плющ.

Шульгин не выдержал.

– Нет уж, изволь объясниться!.. Главное, как это у тебя комната... Там же торец!

Фролов Валера вздохнул, вроде смутился.

– Ладно, раз так... Есть место одно такое... Окошечко. Там это все дают... Бесплатно.

– Не тренди! Бесплатно ничего не бывает.

– Не бывает, а дают. Как у Якубовича – «подарки в студию!» Якубовичу-то разве народ платит? Вот ему банки маринованные везут – думаешь, он их ест? Он их выбрасывает, поверь слову. Глазки у него такие хитрые с консервов, что ли?

Фролов все в сторону уводил разговор, но Шульгин привязался – не отцепишься. Где окошечко? Главное, комната эта лишняя ему крепко засела. У него самого была однокомнатная, так что лыжи приходилось прямо в чулане держать. Фролов темнил, но Шульгин так

расстроился, что проиграл четыре партии подряд, а с таким играть неинтересно. Пришлось соседу колотьяся.

– Главное, – учил Фролов, – когда оттуда крикнут, скажем: «Кофемолка!» – надо обязательно тоже крикнуть: «Беру!» Это вот главное. Не забудь и не перепутай.

Наутро Шульгин поехал туда прямо с утра. С виду здание совершенно совковое, вроде авторемонтных мастерских или заводоуправления. Третий двор, пятый корпус, всюду мазут и шестеренки. Бегают какие-то хмыри в спецовках. Надул Фролов Валера, понял Шульгин с досадой. Но раз уж добрался, разыскал и коридор, и окошечко – обыкновенное, глубокое, с деревянной ставней, из таких зарплату выдают. Подошел и постучал.

Ставня сразу распахнулась, а за ней никого не было, только кусок зеленой стены, как в бухгалтерии, и свет противный, как будто лампа дневного света.

– Пакет! – крикнули в окошечке.

– Беру! – крикнул Шульгин.

Кто-то кинул ему пакет, а кто – не видно. Шульгин схватил коричневый сверток и отбежал в сторону. Так разволновался, что даже как будто оглох. Потом немножко отошло. Посмотрел по сторонам – народ ходит туда-сюда, но никто к окошечку не подходит, как будто не интересуется. Вот олухи-то! Пакет он довез до дома, расстелил на кухонном столе «Из рук в руки», а уж потом аккуратно перерезал веревку ножницами и сорвал сургучные пломбы. Развернул крафт-бумагу – в пакете было четыре котлеты.

Шульгин обиделся: разыграл его Фролов Валера. Вышел на площадку и сильно, сердито позвонил. Но у Валеры никто не открыл. Шульгин постоял-постоял, потом спустился на улицу и посмотрел на дом с торца. Все как всегда. Как же у него комната с аркой помещается?

Вечером и Валера нашелся, и опять в нарды сражались.

– Ездил?

– Ездил.

– Дали?

– Дали.

– Мало?

– Мало.

– Другой раз больше дадут. Ты, главное, обязательно кричи: «Беру!»

– А если не крикну?

– Тогда не дадут.

И опять Шульгин поехал, и опять пробирался среди каких-то колес, бочек и ломаной тары в третий двор и пятый корпус. И опять никто больше, кроме него, окошечком не интересовался. Стукнул в ставню, и ставня отворилась.

– Валенки! – крикнули из окошечка.

– Беру! – с досадой крикнул Шульгин.

Выбросили валенки, серые, короткие и неподшитые. Что за херня такая, – повертел валенки Шульгин, – на что они мне? Отошел в сторонку будто покурить и сунул валенки в урну. Никто не видел. Снова подошел к окошечку и постучал, но окошечко больше не открылось.

На другой день не хотел ехать, но дома как-то плохо сиделось. Вышел опять посмотреть на торец, а там уже построили леса, и какие-то чернявые рабочие что-то приколачивали и загорачивали.

«Турков понаехало», – подумал Шульгин.

На этот раз у окошечка была длиннющая очередь, так что сердце у него екнуло, и он заволновался, вдруг ему не хватит. Медленно-медленно двигалась очередь, какие-то вроде

сложности и задержки возникали, и кто-то, кажется, пытался спорить и выражал недовольство – через головы не было видно. Наконец и он добрался до ставни.

– Цветы! – крикнуло оттуда.

– Беру! – обозлился Шульгин.

В урну он их выбрасывать не стал, хотя и очень хотелось. Было какое-то неясное подозрение, что сегодняшняя очередь, волнения и потерянное время – это наказание за то, что вчера он так нехорошо поступил с валенками. В конце концов, ему же даром все это давали, хотя почему – неизвестно. А другим давали большие коробки, упакованные в белую бумагу. Некоторые пришли с тележками.

Съесть хот-дог, что ли, – подумал Шульгин. Но руки были заняты, а хот-дог надо есть двумя руками, если не хочешь закапать себе костюм кетчупом. Шульгин посмотрел на продавщицу – симпатичная! – и протянул ей букет.

– Прекрасной даме в честь ее небесных глаз!

– Ой, какая прелесть! – обрадовалась девушка.

Слово за слово, и вечером после работы Оксана уже гуляла с Шульгиным по Манежной площади. Они говорили о том, как тут все стало красиво, только уж очень дорого. Ничего, если завтра повезет, может быть, и мы себе купим гжель, как люди, думал Шульгин. Когда стемнело, они долго целовались в Александровском садике у грота, и Шульгин пошел домой неохотно: очень ему нравилась Оксана...

– ...Утюг! – крикнуло окошечко.

– Беру! – весело отозвался Шульгин.

Вот уже пошли электроприборы, надо только иметь терпение. Дома Шульгин прибил полочку и ставил все новые приобретения на полочку. У него уже был эмалированный бидон, набор хваталок для горячего, кофейный сервиз, шампунь с бальзамом в одном флаконе, банка сельди атлантической, кило шерсти «ангора» бледно-розового цвета, набор разводных ключей «Сизиф», две клеенчатые тетради в линейку, пуф арабский кожаный с накладными нефертитами, коврик резиновый в ванну, книга «Русская пародия» В.Новикова и еще одна книга на иностранном языке, баллончик для заправки газовых зажигалок, бумажная икона с целителем Пантелеймоном, набор шариковых ручек с красной пастой и фото пленка. Жизнь научила Шульгина ни от чего не отказываться, он и не отказывался. Дали доски, горбыль – он взял и горбыль и поставил в чулан к лыжам. Может, дача будет – горбыль и пригодится.

Фролов попадался на площадке, спрашивал, чего Шульгин не заходит играть в нарды, но Шульгин объяснил, что влюблен и вот-вот женится, такое дело. Впрочем, приличия ради он все-таки зашел, и они сразились, и Шульгина неприятно поразило, что у Фролова теперь в каждой комнате было по телевизору, а один вообще был плоский, как в рекламе. И так же, как в рекламе, висел на потолке. А в комнату с аркой Фролов его не пригласил, и он, кажется, понял, почему: там уже не одна была комната, а много, и они уходили куда-то вглубь, куда никоим образом уходить не могли.

После утюга, действительно, произошел качественный скачок: поперли миксеры, блендеры, вентиляторы, кофемолки, вылез гриль, потом – видимо, по ошибке – второй, точно такой же. Размер подарков все увеличивался, и Шульгин почувствовал, что надо уже приходить с тележкой. И действительно, дали микроволновку. Единственное, что огорчало – невидимый Якубович в основном поставлял «желтую» сборку, а «Филипс» попадался редко. Перед свадьбой Шульгин втайне надеялся, что в окошечке догадаются, что ему бы хорошо золотое кольцо для невесты или оплаченный банкет в ресторане, но там не догадались, а в день свадьбы выдали дрель.

Оксане Шульгин не стал рассказывать про окошко, ему нравилось быть таинственным и всемогущим. Сначала Оксана радовалась, что у них так много хороших вещей, но потом коробки стало просто некуда ставить. Шульгин попробовал пропустить пару дней

и не ходить к Якубовичу, но в следующий раз ничего электрического ему не дали, а дали фужеры, а фужеры – это был явный шаг назад. И на другой день – снова фужеры. Пришлось неделю понервничать, пока опять не полезли предметы с проводами – сначала давали удлинители, а уж потом пошли сами вещи. Но и тут вышло наказание – окошечко, не предупредив, выдало электросковороду на 110 вольт, а трансформатора не дало. Конечно, сковороду пробило, вонь страшная, запахло паленым, да еще и пробки вышибло. Окошко сердилось еще несколько дней, подсовывая то одно, то другое, и все не на нашу сеть. Один раз вообще с треугольной австралийской вилкой. Но Шульгин теперь все брал смиренно и покорно, кричал «беру!» извиняющимся голосом, и вообще всячески показывал, что он виноват и готов исправиться. Он знал, чего он ждет, и окошко тоже знало.

Когда Оксану увезли в роддом, Шульгин получил простой белый конверт. Он сразу вспорол его – и точно: печатными буквами на листке в клеточку было написано: «18,5 кв.м». Домой он рванул на такси, и сначала сердце упало: все оставалось по-прежнему. Но на стене под обоями словно бы проступали очертания двери. Ковырнул обои – верно, дверь, а за дверью комната – восемнадцать с половиной, без обману. От радости Шульгин подпрыгнул, ударил себя правым кулаком в левую ладонь и крикнул: «yes!!!» и прошелся по комнате словно бы в лезгинке.

Хотя вообще-то, если подумать, негде было разместиться чудесной комнате, потому что на этом самом месте всегда была соседская квартира, и жила в ней Наиля Файнудтиновна. Шульгин опасливо наведалься к ней, будто спичек взять – ничего с ней не случилось, с Наилей Файнудтиновной, все так же манты лепит. Вернулся к себе – существует комната и даже пахнет свежей побелкой. Обои не очень – так это поменять можно.

Оксана вернулась домой с прелестной девочкой, которую они сразу и без споров назвали Кирочкой. Шульгин сказал Оксане, что новая комната – это его сюрприз для нее, что будто она всегда там и была, за обоями. А Оксана сказала, что он – самый-самый лучший и заботливый, совершенно просто удивительный. И что вот теперь бы еще и коляску для Кирочки. Шульгин сбегал к окошку, но окошко вместо коляски подарило ему огромный газовый мангал – дачный вариант, с двумя большими красными баллонами. «Дачи-то нет у меня, – сказал Шульгин в закрытую ставню. – У меня ребенок маленький». Но там молчали. Шульгин постоял, поскучал у окошка, но, делать нечего, поволок мангал к себе. «Это вот ты зря, – сказала Оксана. – Я же коляску просила». «Завтра», – пообещал Шульгин, но назавтра ему досталось совсем уже что-то несусветное – полный набор стройматериалов для мини-бойлерной, со всеми трубами, коленами и вентилями. Плохи были его дела, и он позвонил в дверь Фролову Валере, который открыл очень не сразу – видно, долго шел по своим комнатам откуда-то издалека.

– Возьми у меня бойлерную, – сказал Шульгин.

– Нет, не возьму.

– Ну, гриль возьми. Даже два.

– Нет, и гриль не возьму.

– Валера, я же тебе даром отдаю!

– Даром ничего на свете не бывает, – отвечал Фролов Валера, и Шульгин увидел, что глаза у соседа невеселые, а за спиной его, в бесконечной перспективе комнат, все телевизоры, телевизоры, и на полу, и на потолке, и нераспакованные тоже.

– Ты же сам говорил, что бывает?

– Я тебе не сказал, что бывает. Я сказал, что даром дают. Большая разница.

– Ну хорошо... Ну купи у меня бойлерную эту.

– Откуда же у меня такие деньги? – вздохнул Фролов.

У Шульгина тоже денег не было, одни вещи. Делать нечего, пришлось везти бойлерную на Савеловский рынок и там с большим трудом, за треть цены, всучить ее какому-то неприветливому чучмеку.

«Сидели бы у себя в солнечном Скобаристане, нет, ездят к нам», – думал Шульгин. На вырученные деньги он купил Кирочке коляску с оборочками, самую дорогую и красивую. На другой день окошко опять выдало ему конверт, а в конверте, на клетчатом листочке было от руки написано: «минус один». Тут Шульгину стало страшно, даже пот прошиб: что это еще за минус такой? А дома стало еще страшней: Оксана с плачем рассказала, что в новой комнате обвалился угол, штукатурка с потолка прямо вся рухнула, так напугала, хорошо что не в коляску с Кирочкой! И действительно, целый квадратный метр штукатурки обвалился, так что бетон торчал. Мусор убрали, а ночью опять был какой-то шорох. Шульгин вскочил, посмотрел – нет, ничего не упало. Просто стены словно бы передвинулись и комната стала чуть меньше.

Тут вдруг Шульгина осенило.

– Ты ничего вчера не выбрасывала? – спросил он Оксану.

– Доски какие-то из чулана, а что?

– Не выбрасывай ничего, пожалуйста, – сказал Шульгин.

– Да они плохие, ненужные!

– Мне лучше знать.

Знать-то, конечно, ему было никак не лучше, тем более что теперь он не мог решить: за что ему сократили жилплощадь, за бойлерную или горбыль? Какие там у них вообще правила? Может, это как игра в нарды? Вот он сделал неверный ход, и, пожалуйста, съели его шашку... А Фролов Валера, как играет Фролов? Почему ему бесконечно расширяют квартиру, почему завалили телевизорами?

Месяца два все было тихо и скучно, но зато безопасно: он ходил к окошку как на работу, там ему выдавали беспорядочную мелочь – детскую присыпку, скрепки, белый невкусный торт «Полярный», гомеопатические шарики от неизвестно какой болезни, горшочки с рассадой. Все это места не занимало. Вел он себя хорошо, ничего не выбрасывал, и как заслуженную награду за послушание и понимание принял из окошка конверт с записочкой: «25 кв.м с балконом». И все было как и в прошлый раз, только теперь Оксана сама обнаружила под обоями заклеенную дверь и к приходу Шульгина уже перетасила в новую комнату арабский пуфик, стол и два кресла.

– Может, у тебя еще сюрпризы под обоями спрятаны? – радовалась Оксана.

– Может, и так, не все сразу, – игриво отвечал Шульгин, хлопая Оксану по попе, а сам прикинул, что они уже проглотили территорию Наили Файнутдиновны и теперь живут там, где у Козолуповых кухня. Но ни Наили Файнутдиновна, ни Козолуповы не жаловались.

Еще неделю Шульгин получал нужные и ненужные предметы, а потом случилась нехорошая вещь: их пригласили на день рождения на дачу. Оксана долго рассуждала вслух, что лучше подарить хозяину, одеколон «Обсешн» или галстук, так что у Шульгина притупилась бдительность. А когда уже выгружались из такси, он увидел, что Оксана тащит большую белую коробку, и сердце у него екнуло.

– Это что такое?

– Да это гриль.

– Купила, что ли?

– Нет, это наш. У нас же два, а нам и одного не надо, правда?

– Что ты наделала! Сию же минуту везем его назад!

Но было уже поздно: такси развернулось и уехало, а из ворот выбежал хозяин, радуясь и благодаря за такой нужный подарок. Шульгину шашлык в рот не лез, так ему страшно было: что подумают в окошке, как накажут? Оксана тоже выглядела расстроенной: должно

быть, неправильно думала о том, какой он, Шульгин, жадный, – собака на сене. Вечером, уже дома, Шульгин сразу бросился смотреть: как там потолки, не сдвинулись ли стены, на месте ли балкон, что с холодильником, что с плитой – беда могла прийти отовсюду. Проверил электрощит, заглянул под кровати, пересчитал бытовую технику, пересчитал все нераспечатанные коробки, забытые ненужными вещами, которые навязал ему Якубович. А легко сказать «пересчитал», – коробки громоздились до самого потолка, заполнили все три комнаты, в коридоре вообще можно было протиснуться только боком. Все вроде было цело. Тут позвонила теща, забравшая Кирочку на выходные, и сказала, что у ребенка температура – вся горит.

– Вот, вот что ты наделала, вот он, гриль-то! – закричал Шульгин на Оксану.

– Псих ты, что ли? – заплакала Оксана.

– Не тронь мне ребенка! Слышишь? Ребенка не трогай! – закричал Шульгин неизвестно кому, потрясая кулаками.

К утру температура у Кирочки спала, а Шульгин, злой и решительный, отправился к окошку с намерением разобраться по-мужски: что такое, в самом-то деле! Окошко выдало валенки, как когда-то, на заре их отношений.

– В каком смысле? – гневно спросил Шульгин и стукнул кулаком в закрытую ставню. – Эй! Я тебя спрашиваю! – Окошко молчало. – Ты можешь ответить, когда с тобой разговаривают?! – Тишина. – Ну, я предупредил! – пригрозил Шульгин.

Дома он подостыл и стал думать, что же делать дальше. Ситуация складывалась безобразная. С одной стороны, невидимая нечисть в окошке ежедневно дарит вам подарки, может быть, и не самого лучшего качества, но вполне приличные. За какие-нибудь полтора года у Шульгина столько всего скопилось, что хоть самому магазин открывай и торгуй. С другой стороны, вот подянка-то в чем, торговать окошко не дает. И торговать не дает, и дарить не дает, и выбрасывать тоже не дает. Прямо тоталитаризм какой-то, горько думал Шульгин: полный контроль и никакого рынка! Причем опять-таки, с одной стороны, тут вроде гуманность – когда квартира уже трещит по швам, жилплощадь расширяют. В случае с Фроловым Валерой – очевидно, расширяют до бесконечности. С другой стороны, кому нужна такая жилплощадь, пусть даже с балконом, если ты не можешь распорядиться ею по своему усмотрению? Может, попробовать приватизировать ее, думал Шульгин.

– Как думаешь, может, приватизировать? – крикнул он Фролову Валере. Валера ничего не сказал, наверно, не расслышал. Играть было неудобно, да и сидеть не очень, потому что по полу были всюду проложены рельсы, а по рельсам ходили вагонетки и все время сбивали то шашки, то чашечки с кофе. Грохот был соответствующий, и пахло плохо. И телевизоры по стенам шли сплошняком.

– Это что у тебя? – крикнул Шульгин в смысле рельсов.

– Вроде «Сибалюминий»!

– А я думал, он у Дерипаски?

– У него вроде контрольный пакет!

Шульгин пожалел Дерипаску: захочет Дерипаска прикупить Валериных акций для полного счастья, да не тут-то было. Ничего продать нельзя. Но вообще странно как-то складывается, подумал Шульгин, – начинали практически вместе, а сейчас у Валеры целое производство, да и сам он, можно считать, олигарх. А у Шульгина только квартира трехкомнатная, и жена – торговка сосисками. Социальное неравенство при отсутствии рынка, а?! Северной Корее такого не снилось!

Оксана хотела вернуться на работу, а Кирочке взять няньку. Так что когда окошко крикнуло: «Нянька Кирочке!», то Шульгин встрепенулся: «Беру-беру!», и только потом спохватился, когда уже было поздно. Нянька вылезла из окошка ногами вперед, словно родилась, и, еще пока эти ноги лезли, он уже осознал масштаб катастрофы. Было няньке лет так двадцать,

фигурка плейбойная, сиськи – мечта сержанта, волосы белые крашенные, помада малиновая, в зубах травинка. Обдернула мини-юбку:

- Ну и где ребенок?
- Не пущу, – злобно сказал Шульгин.
- Это почему это?
- Мне надо старую дуру, а не это... что это!..
- Состаримся вместе, а ума у меня – ты удивисься – никакого! – захохотала нянька.
- У меня жена дома!!!
- Ути-пути, мой шладенький, жена у него!

Через Черемушкинский рынок пройти, и там она потеряется и сама отстанет, – прикидывал Шульгин. Но вышло хуже: нянька крепко держала его под руку, виляла кожаной юбкой и громко требовала то ей икры черной купить, то черешен. Хоть бы ОПГ встретить, – тоскливо озирался Шульгин. – Кто рынок-то этот контролирует? Азербайджанцы вроде?.. Солнцевские?.. Куда же они подевались-то? Когда надо, их нет! Вот у нас все так!

С икрой и черешнями дотащились до дому – позор на всю улицу, прохожие оборачиваются.

- Тигра, наломай мне сирени! – стонала нянька.

Вот что: надо к Фролову Валере зайти, будто в нарды захотелось. А там ее в вагонетку, сверху алюминием этим завалить, и крышку сверху. И пусть катится колбаской до встречи с Дерипаской. Это не будет считаться, что он ее подарил, – мысленно объяснил окошку Шульгин, – это просто круиз. Да, так и будет считаться. «А что Сибирь, Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля!..» – замурлыкал Шульгин.

Валерину дверь отворили какие-то народы Крайнего Севера в лисьих шапках и сказали, что хозяина нет дома, однако.

– Я подожду, – попытался пройти Шульгин, хоть и неприятно было ступать по снегу летними сандалиями. Рельсы замело, столик с нардами запорошило, да и вообще неприятно было во всем Валерином пространстве: сумерки, телевизоры темной вереницей, заснеженная равнина с кочками, и далеко на горизонте полыхают газовые факелы. Олень пробежал, догоняя стадо.

- Нельзя, однако, – гнали Шульгина народы Севера.
- Вас не спросил! Куда он пошел-то?
- В Совет Федерации, – наврали народы.

Шульгин, конечно, не поверил, стоя перед захлопнувшейся дверью – обычная дверь из прессованной стружки с глазком, из щели тянет запахом супа. Перед дверью – потерянный коврик. С другой стороны, все может быть. Тогда надо Валеру попросить по-соседски, по дружбе, чтобы он там реформы ускорил. Чтобы разрешено было продавать, менять, и вообще. Вступать в рынок. Ведь как было бы удобно: что не надо – продал, а на вырученные деньги купил что надо. Ну? Они там не понимают, что ли? Вот ведь Оксана со своими сосисками – свободна как бабочка. А ему тут навязали эту отстойную няньку.

- Дурашка, зато я бесплатно, – пропела нянька.
- Пропади! – завыл Шульгин.
- И смерть нас не разлучит!

Шульгин нашарил в кармане ключи, оттолкнул няньку, ворвался в собственную квартиру и постоял с колотящимся сердцем, переводя дух. Потом завалил вход матрасом и припер ящиком с какой-то нераспечатанной техникой, на которой было написано «Тошиба».

Всю ночь нянька ломилась и колотилась в дверь. Оксана не пожелала слушать объяснений, забрала Кирочку, заперлась в дальней, теоретически не существующей комнате и оттуда всхлипывала. Нянька стучалась к Шульгину, Шульгин – к Оксане, нижние соседи, возмущенные шумом, стучали гаечным, вероятно, ключом по батарее. За окном буйствовала

сирень, а в Валериной вселенной под снегом мерз ягель и слабо тьякали ездовые собачки. На рассвете утомленный бессонницей Шульгин протиснулся на кухню попить воды и увидел, что в стене готова образоваться новая комната, еще слабая, как весенняя березовая почка, – очевидно, готовили под няньку. Стало быть, не отстанут. Это – гибель. Надо было решаться.

Решился. Поколебался, а потом снова решился.

В третий двор, пятый корпус поехал решившимся, с висящей на нем, чирикающей нянькой.

– Крутая тачка с прикольными наворотами! – вульгарно объявило окошко.

– О, шикарно, – подзуживала нянька.

– Не беру, – с сожалением, но и с достоинством ответил Шульгин.

– А, тогда моя очередь! – обрадовалось окошко, и ставня захлопнулась.

Постояли, подождали, постучались, но Якубович молчал. Шульгин повернулся и пошел через двор, прямо через хлам и технические обломки.

– Куда тебя понесло? Я на каблуках! – как своему крикнула химера.

– Отвяжись, проклятая!

– Я те...

– Беру! – крикнули неизвестно откуда, и нянька пропала, оборвавшись на полуслове. Шульгин повертел головой – нет няньки. Отличненько. Прямо от сердца отлегло. По дороге домой он купил букет цветов.

– Это что? – спросила мрачная Оксана с Кирочкой на руках.

– Цветы.

– Беру! – крикнуло далекое окошко, и цветы исчезли, а Шульгин остался с согнутым локтем и закругленными пальцами. За Оксаниной спиной на кухне зашипело.

– Кофе выкипает! – не своим голосом сказал Шульгин, чтобы что-нибудь сказать.

– Беру-у! – отозвались где-то, и кофе пропал вместе с джезвой и пригорелым расплеском на плите, так что плита стала как новенькая.

– Ой, плита, – сказал Шульгин, «беруууу!» – и плиты не стало.

– Что это такое? – перепугалась Оксана.

– Окошко, – одними бронхами прошептал Шульгин, но его услышали. И окна в квартире исчезли, а вместо них возникла глухая стена, так что стало темно, как до сотворения мира. Оксана завизжала, и Шульгин открыл рот, чтобы сказать: «Оксаночка, Оксаночка». Но догадался. И не сказал.

Следующий-то ход был у Якубовича.

Милая Шура

В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года – булденежи, ландыши, черешня, барбарис – свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, – нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.

Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре – размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку – своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть.

Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти.

Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих машин у Никитских ворот, заматалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище – безделушки, овальные рамки, сухие цветы, – оставляя за собой шлейф валидола.

Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица – милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая... А это ее второй муж, ну а это третий – не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить... Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны.

Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!

...Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните... ну, неважно, я к вам в гости. Гости – ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу... Так и живу одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но... Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это – я. Это – тоже я. А это – мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень...

А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили. Весной – в Финляндию. Летом – в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы – очень дорого... Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году – зарезали в подворотне.

О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце – оно такое! Да вот три года назад – у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд – он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ни-че-го не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках... Знаете, что-то такое в воздухе было – обоим ясно... Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он – с горя – женился на какой-то – так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд – испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.

Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, – и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна – выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд туда, а тут вдруг врываются, шаями крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! – а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень...

Но Иван Николаевич... Ах, Иван Николаевич! Всего-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый выскобленный пол... Шестьдесят лет прошло, а вот ведь... Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегаёт как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год – Александра Эрнестовна покажет.

Ах, как любил! Ехать или не ехать?

На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень... Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны – где же она теперь? Куда обращены ее мокнущие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышинный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул – раз и навсегда – настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.

– Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.

Да я никуда и не уйду. Я затем и пришла – пить чай. И принесла пирожных. Я сейчас поставлю чайник, не беспокойтесь. А она пока достанет бархатный альбом и старые письма.

В кухню надо идти далеко, в другой город, по бесконечному блестящему полу, натертому так, что два дня на подошвах остаются следы красной мастики. В конце коридорного туннеля, как огонек в дремучем разбойном лесу, светится пятнышко кухонного окна. Двадцать три соседа молчат за белыми чистыми дверьми. На полпути – телефон на стене. Белеет записка, приколотая некогда Александрой Эрнестовной: «Пожар – 01. Скорая – 03. В случае моей смерти звонить Елизавете Осиповне». Елизаветы Осиповны самой давно нет на свете. Ничего. Александра Эрнестовна забыла.

В кухне – болезненная, безжизненная чистота. На одной из плит сами с собой разговаривают чьи-то щи. В углу еще стоит кудрявый конус запаха после покурившего «Беломор» соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается на черном ветру. Голое мокрое дерево поникло от горя. Пьяница расстегивает пальто, опершись лицом о забор. Грустные обстоятельства места, времени и образа действия. А если бы Александра Эрнестовна согласилась тогда все бросить и бежать на юг к Ивану Николаевичу? Где была бы она теперь? Она уже послала телеграмму (еду, встречай), уложила вещи, спрятала билет подальше, в потайное отделение портмоне, высоко заколола павлиньи волосы и села в кресло, к окну – ждать. И далеко на юге Иван Николаевич, всполошившись, не веря счастью, кинулся на железнодорожную станцию – бегать, беспокоиться, волноваться, распорядиться, нанять, договариваться, сходить с ума, вглядываться в обложенный тусклой жарой горизонт. А потом? Она прождала в кресле до вечера, до первых чистых звезд. А потом? Она вытащила из волос шпильки, тряхнула головой... А потом? Ну что – потом, потом! Жизнь прошла, вот что потом.

Чайник вскипел. Заварю покрепче. Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, ложечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка. Длиннен путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках. Двадцать три соседа за белыми дверьми прислушиваются: не капнет ли своим поганым чаем на наш чистый пол? Не капнула, не волнуйтесь. Ногой отворяю готические дверные створки. Я вечность отсутствовала, но Александра Эрнестовна меня еще помнит.

Достала малиновые надтреснутые чашки, украсила стол какими-то кружавчиками, копается в темном гробу буфета, колыша хлебный, сухарный запах, выползающий из-за его деревянных щек. Не лезь, запах! Поймать его и прищемить стеклянными гранеными дверцами; вот так; сиди под замком.

Александра Эрнестовна достает чудное варенье, ей подарили, вы только попробуйте, нет, нет, вы попробуйте, ах, ах, ах, нет слов, да, это что-то необыкновенное, правда же, удивительное? правда, правда, сколько на свете живу, никогда такого... ну, как я рада, я знала, что вам понравится, возьмите еще, берите, берите, я вас умоляю! (О, черт, опять у меня будут болеть зубы!)

Вы мне нравитесь, Александра Эрнестовна, вы мне очень нравитесь, особенно вон на той фотографии, где у вас такой овал лица, и на этой, где вы откинули голову и смееетесь изумительными зубами, и на этой, где вы притворяетесь капризной, а руку забросили куда-то на затылок, чтобы резные фестончики нарочно сползли с локтя. Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши истлевшие поклонники, мужья, проследовавшие торжественной вереницей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали вы, каждый, кто прошел и скрылся за высокой горой. Я буду приходить к вам и приносить и сливки, и очень полезную для глаз морковку, а вы, пожалуйста, раскрывайте давно не проветривавшиеся бархатные коричневые альбомы – пусть подышат хорошенькие гимназистки, пусть разомнутся усатые господа, пусть улыбнется бравый Иван Николаевич. Ничего, ничего, он вас не видит, ну что вы, Александра Эрнестовна!.. Надо было решиться тогда. Надо было. Да она уже решилась. Вот он – рядом, – руку протяни! Вот, возьми его в руки, держи, вот он, плоский, холодный, глянцевый, с золотым обрезом,

чуть пожелтевший Иван Николаевич! Эй, вы слышите, она решилась, да, она едет, встречайте, всё, она больше не колеблется, встречайте, где вы, ау!

Тысячи лет, тысячи дней, тысячи прозрачных непроницаемых занавесей пали с небес, сгустились, сомкнулись плотными стенами, завалили дороги, не пускают Александру Эрнестовну к ее затерянному в веках возлюбленному. Он остался там, по ту сторону лет, один, на пыльной южной станции, он бродит по заплеванному семечками перрону, он смотрит на часы, отбрасывает носком сапога пыльные веретена кукурузных обглодышей, нетерпеливо обрывает сизые кипарисные шишечки, ждет, ждет, ждет паровоза из горячей утренней дали. Она не приехала. Она не придет. Она обманула. Да нет, нет, она же хотела! Она готова, и саквояжи уложены! Белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной темноте сундука, несессер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные купальные костюмы, чуть прикрывающие колени – а руки-то голые до плеч! – ждут своего часа, зажмурились, предвкушая... В шляпной коробке – невозможная, упоительная, невесомая... ах, нет слов – белый зефир, чудо из чудес! На самом дне, запрокинувшись на спину, подняв лапки, спит шкатулка – шпильки, гребенки, шелковые шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели – для нежных ногтей; мелкие пустячки. Жасминовый джинн запечатан в хрустальном флаконе – ах, как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свете! Она готова – что ей помешало? Что нам всегда мешает? Ну, скорее же, время идет!.. Время идет, и невидимые толщи лет все плотнее, и ржавеют рельсы, и зарастают дороги, и бурьян по оврагам все пышней. Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо.

...Еще чаю?

А после войны вернулись – с третьим мужем – вот сюда, в эти комнатки. Третий муж все ныл, ныл... Коридор длинный. Свет тусклый. Окна во двор. Все позади. Умерли нарядные гости. Засохли цветы. Дождь барабанит в стекла. Ныл, ныл – и умер, а когда, отчего – Александра Эрнестовна не заметила.

Доставала Ивана Николаевича из альбома, долго смотрела. Как он ее звал! Она уже и билет купила – вот он, билет. На плотной картонке – черные цифры. Хочешь – так смотри, хочешь – переверни вверх ногами, все равно: забытые знаки неведомого алфавита, зашифрованный пропуск туда, на тот берег.

Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; все закрыли, ну а хоть щелочку-то – зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кирпичной стене – пролом, небрежно заложенный кирпичами, торопливо замазанный, крест-накрест забитый на скорую руку... Может быть, не здесь, а в другом городе... Может быть, где-то в путанице рельсов, в стороне, стоит вагон, старый, заржавевший, с провалившимся полом, вагон, в который так и не села милая Шура?

«Вот мое купе... Разрешите, я пройду. Позвольте, вот же мой билет – здесь все написано!» Вон там, в том конце – ржавые зубья рессор, рыжие, покореженные ребра стен, голубизна неба в потолке, трава под ногами – это ее законное место, ее! Никто его так и не занял, просто не имел права!

...Еще чаю? Метель.

...Еще чаю? Яблони в цвету. Одуванчики. Сирень. Фу, как жарко. Вон из Москвы – к морю. До встречи, Александра Эрнестовна! Я расскажу вам, что там – на том конце земли. Не высохло ли море, не уплыл ли сухим листиком Крым, не выцвело ли голубое небо? Не ушел ли со своего добровольного поста на железнодорожной станции ваш измученный, взволнованный возлюбленный?

В каменном московском аду ждет меня Александра Эрнестовна. Нет, нет, все так, все правильно! Там, в Крыму, невидимый, но беспокойный, в белом кителе, взад-вперед по пыльному перрону ходит Иван Николаевич, выкапывает часы из кармашка, вытирает бритую шею; взад-вперед вдоль ажурного, пачкающего белой пылью карликового заборчика, волнующийся, недоумевающий; сквозь него проходят, не замечая, красивые мордатые девушки в брюках, хипповые пареньки с закатанными рукавами, оплетенные наглым транзисторным ба-ба-ду-баканьем; бабки в белых платочках, с ведрами слив; южные дамы с пластмассовыми аканфами клипсов; старички в негнущихся синтетических шляпах; насквозь, напролом, через Ивана Николаевича, но он ничего не знает, ничего не замечает, он ждет, время сбилось с пути, завязло на полдороге, где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах.

Иван Николаевич, погодите! Я ей скажу, я передам, не уходите, она приедет, приедет, честное слово, она уже решила, она согласна, вы там стойте пока, ничего, она сейчас, все же собрано, уложено – только взять; и билет есть, я знаю, клянусь, я видела – в бархатном альбоме, засунут там за фотокарточку; он пообтрепался, правда, но это ничего, я думаю, ее пустят. Там, конечно... не пройти, что-то такое мешает, я не помню; ну уж она как-нибудь; она что-нибудь придумает – билет есть, правда? – это ведь важно: билет; и, знаете, главное, она решила, это точно, точно, я вам говорю!

Александра Эрнестовна – пять звонков, третья кнопка сверху. На площадке – ветерок: приоткрыты створки пыльного лестничного витража, украшенного легкомысленными лотосами – цветами забвения.

– Кого?.. Померла.

То есть как это... минуточку... почему? Но я же только что... Да я только туда и назад! Вы что?..

Белый горячий воздух бросается на выходящих из sklepa подъезда, норовя попасть по глазам. Погоди ты... Мусор, наверно, еще не увозили? За углом, на асфальтовом пяточке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали – где? За облаками, что ли? Вон они, эти спирали – торчат пружинами из гнилого разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальный портрет милой Шуры – стекло разбили, глаза выколоты. Старушечье барахло – чулки какие-то... Шляпа с четырьмя временами года. Вам не нужны облупленные черешни? Нет?.. Почему? Кувшин с отбитым носом. А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все, я не плачу – с чего бы? Мусор распарился на солнце, растекая черной банановой слизью. Пачка писем втоптана в жижу. «Милая Шура, ну когда же...», «Милая Шура, только скажи...» А одно письмо, подсохшее, желтой разлинованной бабочкой вертится под пыльным тополем, не зная, где присесть.

Что мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на немислимо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне.

Факир

Филин – как всегда, неожиданно – возник в телефонной трубке и пригласил в гости: посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна: белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пирожки по-тмутаракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка, захватывающие разговоры. Всюду синие шторы, витрины с коллекциями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки – табакерка ли с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренностью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так что-нибудь – ненужное, но ценное.

Сам Филин тоже не оскорбит взгляда – чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским, «за рупь пятьдесят с коробочкой», – зачем? – нет, прямо из раскопок, венецианским, если не врет, а то и монетой в оправе – какой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше... Таков Филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, пальцы сложит домиком, брови дегтярные, прекрасные анатолийские глаза – как сажа, борода сухая, серебряная, с шорохом, только у рта черно – словно уголь ел.

Есть, есть на что посмотреть.

Дама у Филина тоже не какие-нибудь – коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, – вьется на шесте, блистая чешуей, под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки, – ума на пяточок, зато сама белизны необыкновенной, так что Филин, зоя на смотрины, даже предупреждает: непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты.

Кое-кто Филина втихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками; хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами; и смешно было, что у него в ванной – специальная щетка для бороды и крем для рук – у холостяка-то... А все-таки позовет – и бежали, и втайне всегда холодели: пригласит ли еще? даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще – что он в нас, обыкновенных, нашел, зачем мы ему нужны?..

– ...Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомьтесь с Алисой – преле-естное существо.

– Спасибо, спасибо, обязательно!

Ну как всегда, в последний момент! Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь: каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки – и спать! И не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем! Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов: Филин живет в высотном доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще что перепадет.

За домом обручем мрака лежала окружная дорога, где посвистывал мороз, холод безлюдных равнин проник под одежду, мир на миг показался кладбищенски страшным, и они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси, и, развалясь с комфортом, осторожно побранили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису: а где прежняя-то, Ниночка? – ищи-свищи; погадали, будет ли в гостях Матвей Матвеич, и дружно Матвей Матвеича осудили.

Познакомились они с ним у Филина и так были стариком очарованы: эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом коллекционные чашки, и журчащий откуда-то сверху Моцарт, и Филин, ласкающий гостей своими мефистофельскими глазами – фу-ты, голова одурела, – напросились к Матвей Матвеичу в гости. Разбежались! Принял на кухне, пол дощатый, стены коричневые, голые, да и вообще район кошмарный, заборы и ямы, сам в тренировочных штанах, совер-

шенно уже белесых, чай спитой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить – только на лестничной площадке: астма, не обессудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел: расположились – бог с ним, с чаем – послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там переводы, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвей Матвеича настраивает, но ведь вот же, вот же: ценнейшие документы, всю жизнь собирал! Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов, но не было рядом Филина и некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только Ку-у-узин! Ку-у-узин! – и тыканье в папки, и валерьянка. Уложив старика, рано ушли, и Галя порвала колготки о старикову табуретку.

– А бард Власов? – вспомнил Юра.

– Молчи уж!

С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный: тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей – слушать, отстояли два часа за тортом «Полено». Заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел бард Власов, хмурый, с гитарой, торт и пробовать не стал: крем смягчит голос, а ему нужно, чтоб было хрипло. Пропел пару песен: «Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Команечи, физкультурой развиты...» Юра позорился, вылезал со своим невежеством, громко шептал посреди пения: «Я забыл, перси – это какие места?» Галя волновалась, просила, чтобы непременно спеть «Друзья», прижимала руки к груди: это такая песня, такая песня! Он пел ее у Филина – мягко, грустно, заунывно, – вот, мол, «за столом, клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись», сидят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть: «одному любовь не под силу, а другому князь не по нраву», – и никто-то никому помочь не может, увы! – но ведь вот же они вместе, они друзья, они нужны друг другу, и разве это не самое важное на свете? Слушаешь – и кажется, что – да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни, да, вот именно! «Во – песня! Коронный номер!» – шептал и Юра. Бард Власов еще больше нахмурился, сделал далекий взгляд – туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивцы откупоривали далекое пиво; перебрал струны, начал печально: «за столом, клеенкой покрытым...» Запертая в кухне Джулька заскребла когтями по полу, завывала. «За бутылкой пива собравшись», – поднажал бард Власов. «Ы-ы-ы», – волновалась собака. Кто-то хрюкнул, бард оскорбленно зажал струны, взял папиросу. Юра пошел делать Джульке внушение. «Это у вас автобиографическое?» – почтительно спросил какой-то дурак. «Что? У меня все где-то автобиографическое». Юра вернулся, бард бросил окурок, сосредоточиваясь. «За столом, клеенкой покры-ыты-ым...» Мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», – со злобой сказал бард. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям, бард поспешно допел – вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки, – скомкал программу и в прихожей, дергая «молнию» куртки, с отвращением сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа, но раз они не умеют организовать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям, – кошмар, одолжите червонец, – и те, тоже перед получкой, долго собирали мелочью и вытрясли даже детскую копилку под рев обобранных детей и лай рвущейся Джульки.

Да, вот Филин с людьми умеет, а мы – как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится.

Время до восьми еще было – как раз чтобы постоять за паштетом в гастрономе у Филинова подножия, ведь вот, тоже, – на нашей-то окраине коровы среди бела дня шляются, а паштета что-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт – Галя, как всегда, оглядится и скажет: «В таком лифте жить хочется», потом воцаренный паркет безбрежной площадки, медная табличка: «И.И. Филин», звонок – и наконец он сам на пороге – просияет черными гла-

зами, наклонит голову: «Точность – вежливость королей...» И как-то ужасно приятно это услышать, эти слова, – словно он, Филин, султан, а они и впрямь короли, – Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке.

И вплывут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады, и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком морозе, ветре, тьме, что обступили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь.

Что-то неуловимо новое в квартире... а, понятно: витрина с бисерными безделушками сдвинута, бра переехало на другую стену, арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена, и, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо.

– Аллочка.

– Да, вообще-то она Аллочка, но мы с вами будем звать ее Алисой, не правда ли? Прошу к столу, – сказал Филин. – Ну-с! Рекомендую паштет. Редкостный! Таких паштетов, знаете ли...

– Внизу брали, вижу, – обрадовался Юра. – И спускаемся мы-ы. С пак-каренных вершин-н. Ведь когда-то и боги спуска-ались на землю. Верно?

Филин тонко улыбнулся, повел бровями – дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Все-то вам надо знать. Галя мысленно пнула мужа за бестактность.

– Оцените тарталетки, – начал новый заход Филин. – Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле.

Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками – должно быть, из-за Алисы.

– А что случилось – муку снимают с продажи? В мировом масштабе? – веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле. Забулькал чай.

– Ничуть не бывало. Что мука! – махнул бородкой Филин. – Галочка, сахару... Что мука! Утерян секрет, друзья мои. Умирает – мне сейчас позвонили – последний владелец старинного рецепта. Девяносто восемь лет, инсульт. Вы пробуйте. Алиса, можно, я налью вам в мою любимую чашку?

Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. Да что в ней такого прелестного? Черные волосы блестят как смазанные, нос крючком, усики. Платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь. Здесь и не такие сиживали – где они теперь?

– ...И вы подумайте, – говорил Филин, – еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кириллычу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил – каждую в папиросной бумажке. И вот – инсульт. Из Склифосовского дали мне знать. – Филин куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул. – Когда Игнатий еще мальчиком служил у «Яра», старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. Вы пробуйте. – Филин вытер бородку. – А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже – знаменитые кондитеры. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеич. Такой народ-с. Не угодно ли бушэ? Трубочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма проспался – Пушкин в гробу.

– О боже мой... – испугалась Галя.

– Да-да. И вы знаете, это так на всех подействовало. Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма – тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял: «Э-эх, Лексан Серге-и-ич... Тарталеточек моих не поели... Пообождали бы чуток...» – Филин бросил еще пирожок в рот и захрустел. – Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт

ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после – революция, гражданская война. Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллыч мой потерял его из виду. Проходит несколько лет – а Игнатий всё при ресторане, – вдруг что-то его дернуло, выходит он из кухни в зал, а там этот, с дамой. Монокль, усы отрастил – не узнать. Игнатий прямо как был, в муке, – к столику. «Пройдемте, товарищ». Тот заметался, а делать нечего. Идет, бледный, в кухню. «Говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься, прошлое-то подмочено. Сказал. «Говори капустную». Весь дрожит, но выдает. «Теперь саго». А саго у него было абсолю-у-утно засекречено. Молчит. Игнатий: «Саго!» И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг: а-а-а-а! – и побежал. Этот, эсер-то. Бросились, связали, смотрят – а он в уме тронулся, глазами водит и пена изо рта. Так саго и не дознались. Да... А этот Игнатий Кириллыч интересный был старик, прихотливый. Как-к он слойку чувствовал, боже, как чувствовал!.. Пек на дому. Задергивал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему: «Игна-атий Кириллыч, голу-убчик, поделитесь секретом, что вам?..» – ни в какую. Все достойного преемника ждал. Теперь вот инсульт... Да вы попробуйте.

– Ой, как жалко... – огорчилась прелестная Алиса. – Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего... Вот у моей мамы до войны брошь была...

– Последний, случайный! – вздохнул Филин и взял еще пирожок.

– Последняя туча рассеянной бури, – поддержала Галя.

– Последний из могикан, – вспомнил Юра.

– Нет, вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны...

– Все преходяще, милая Алиса, – жевал довольный Филин. – Все стареет – собаки, женщины, жемчуг. Вздохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить того-сего на пиру жизни. Кушайте и вытрите слезки.

– Может быть, он еще придет в себя, Игнат этот?

– Не может, – заверил хозяин. – Забудьте об этом.

Жевали. Пела музыка над головами. Хорошо было.

– Чем новеньким побалуете? – поинтересовался Юра.

– А... Кстати напомнили. Веджвуд – чашки, блюдца. Молочник. Видите – синие на полочке. Да вот я сейчас... Вот...

– Ах... – Галя осторожно потрогала пальцем чашку – белые беззаботные танцы по синему туманному полю.

– А вам, Алиса, нравится?

– Хорошие... Вот у моей мамы до войны...

– А знаете, у кого я купил? Угадайте... У партизана.

– В каком смысле?

– Вот послушайте. Любопытная история. – Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где осторожно, боясь упасть, сидел пленный сервиз. – Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока. В чашке. Смотрю – настоящий Веджвуд! Что такое! Ну, разговорились, дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня... ну, неважно. Что выяснилось. Во время войны партизанил он в лесу. Раннее утро. Летит немецкий самолет. Жу-жу-жу, – изобразил Филин. – Дядя Саша голову поднял, а летчик плюнул – и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер ка-ак выиграл, он бабах из пистолета – и немца наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели – пожалуйста, пять ящичков какао, шестой – вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него. Молочник с трещинкой, ну ничего. Раз такие обстоятельства.

– Врет ваш партизан! – восхитился Юра, озираясь и стуча кулаком по колену. – Ну как же врет! Фантастика!

– Ничего подобного. – Филин был недоволен. – Конечно, я не исключаяю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете... как-то я предпочитаю верить.

Он насупился и забрал чашку.

– Конечно, людям надо верить. – Галя под столом потоптала Юрину ногу. – Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь? Купила кошелек, принесла домой, а в нем – три рубля. Никто не верит!

– Почему же, я верю. Бывает, – рассудила Алиса. – Вот у моей мамы...

Поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах. У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь – брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно, в деталях, рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора, но вот в чем была соль – он как-то сейчас точно не припомнит. Филин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев.

– Нет, ну каким же образом? – ахали женщины.

– Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь – все включается. Собака смотрит на часы: пора, идет на кухню, орудует там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяева придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки-ложки приготовлены. Удобно.

Филин говорил, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису, музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И, подумать только, все это пиршество, все эти вечерние чудеса раскинуты ради вот этой, ничем не особенной Алочки, пышно переименованной в Алису, – вон она сидит в своем овощном платье, раскрыла усатый рот и с восторгом глядит на всесильного господина, мановением руки, движением бровей преображающего мир до неузнаваемости.

Скоро Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно... Галю взяла тоска. За что, ах, за что?

Посреди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше, – со всякими зодческими эдакостями, штуkenциями и финтибрясами: на цоколях – башни, на башнях – зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга – источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки, и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое.

И вечернее небо над Филиным, над его кудрявым дворцом играет светом – кирпичным, сиреневым, – настоящее московское, театрально-концертное небо. А у них, на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, маслянисто-морозная тьма, как пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно, слились с ночным, отягощенным снежными тучами небом, только окна там и сям горят неровным узором; золотые, зеленые, красные квадратики сияются растолкать полярный мрак... Поздний час, магазины закрылись на засовы, последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца-бой, никто не гуляет по улицам просто так, ничего не рассматривает, не глазееет по сторонам, каждый порскнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна – окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая сдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чьих-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине... Вон приближается светлая палочка – огни во лбу автобуса, дрожащее ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри... А за окружной, за последней слабой поло-

сой жизни, по ту сторону заснеженной канавы невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля, – тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немислимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше, над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородями, над придавленными к холодной земле деревьями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке... А дальше вновь – темно-белый холод, горбушка леса, где тьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк, – он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отвращением смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...

Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то – ого-го сколько... Проспекты, проспекты, проспекты, темные метельные площади, пустыри, мосты и леса, и снова пустыри, и внезапные, голубые изнутри, неспящие заводы, и снова леса и летящий перед фарами снег. А дома – унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота и знакомый запах, и приключенная к стене цветная обложка женского журнала – для украшения. Румяные, противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Озябла?» – называется. «Озябла?» Сорвать бы проклятую, да Юра не дает – любит все спортивное, оптимистическое... Вот пусть и ловит такси!

Ночь вступила в глухие часы, закрылись все ворота, празднующиеся грузовики проносились мимо, звездная крыша окаменела от стужи, и грубый воздух сваялся в комья. «Шеф, до окружной?..» – метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной, во дворце, догорало последнее окно, розы погружались в дремоту, Алиса лепетала про мамину брошь, а Филин, в халате с кистями, щекотал ее серебряной бородой: у-у, дорогая! Еще ананасов?

Этой зимой они были званы еще раз, и Аллочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, позевывала.

Филин демонстрировал гостям Валтасарова – дремучего бородатого мужика, замечательного своей способностью к чревоуещанию. Валтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, далекий вой волков и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую: «Грыжи боюсь». Гале было не по себе: в Валтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать – через окружную, за канаву, на ту сторону.

Устала она, что ли, за последнее время... Еще полгода назад она кинулась бы зазывать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржаных лепешек, редьки, допустим, – чем там привык питаться чудо-крестьянин? – и мужик брякал бы коровьим боталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало: ничего не выйдет. Позвать его – что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать – освобождай комнату, а она проходная; спать он завалится часов с девяти, запахнет овцами, махоркой, сеновалом; ночью ощупью направится пить воду на кухню, свернет в темноте стул... Тихий мат, Джулька залает, дочь проснется... А может, он лунатик, войдет к ним в спальню в темноте, – в белой рубахе, в валенках... Шарить будет... А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешишь на работу, и голова всклокочена, и холодно, – старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки: «Дочка, вот тут лекарство мне записали... От всего лечит... Как бы это достать...»

Нет, нет, нечего и думать с ним связываться!

Это только Филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало, – ну и нас, и нас, конечно! О, Филин! Щедрый владделец золотых плодов, он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой – и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями.

Вот какой он! Вот он какой!

А какие у него замечательные знакомые... Игнатий Кириллыч, тестознавец. Или эта балерина, к которой он ходит, – Дольцева-Еланская...

– Это, конечно, сценический псевдоним, – качает ногой Филин, любясь потолком. – В девичестве – Собакина, Ольга Иеронимовна. По первому мужу – Кошкина, по второму – Мышкина. Так сказать, игра на понижение. Гремела, гремела в свое время. Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была – дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщина. После революции надумала отдать камушки народу. Сказано – сделано: снимает бусы, рвет нитку, ссыпает на стол. Тут звонок в дверь: пришли уплотнять. Ну пока то да се, возвращается – попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять – и в форточку. Она за ним: «Кокоша, куда?! А народ?!» Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы, как – не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы, – публика бежит в Константинополь. Попугай – на трубу и сидит. Тепло ему там. Так эта Олечка Собакина, что вы думаете, зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила! И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копейки и пожертвовала на Красный Крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, лежит плашмя, пополнела. Хожу вот к ней, Стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина, из купцов... Сколько же силы в нашем народе! Сколько силушки нерастраченной...

Галя смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся – красивый, бескорыстный, гостеприимный... Ах, везет этой Алке усатой! А она не ценит, глядит равнодушным, блестящим взглядом лемура на гостей, на Филина, на цветы и печенье, словно все это в порядке вещей, словно это так и надо! Словно далеко, на краю света, не томятся Галина дочь, собака, «Озябла», – заложники во мраке, на пороге осинового, дрожащего от злобы леса!

На десерт ели грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай с блюдечка.

И на сердце лежал камень.

Дома, лежа во тьме, слушая стеклянный звон осин на ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала: никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безымянный, равнодушный, как судьба, распорядился: этот, этот и этот пусть живут во дворце. Пусть им будет хорошо. А вон те, и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой – живите там. Да не там, а во-о-о-он там, да-да, правильно. У канавы, за пустырями. И не лезьте, нечего. Разговор окончен. Да за что же?! Позвольте?! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина – не достучишься. Хочешь – бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь – затаись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яду.

Пробовали карабкаться, пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени, униженно звонили по телефону: «У нас тут лес... чудный воздух... ребенку очень хорошо, и дачи не нужно... сама такая! От психа слышу!...» Заполняли тетради торопливыми пометками: «Зинаида Самойловна подумает...», «Ксана перезвонит...», «Петру Иванычу только с балконом...» Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на Патриарших прудах, капризничала. Пятнадцать семей завертелись в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарк-

тами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, доставали ей дорогие лекарства, теплую обувь, ветчину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска, где-то в цепи пал некто Симаков, прободение язвы, – неважно, прочь! – ряды сомкнулись, еще усилие, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера, – трах! она передумала. Вот так – взяла и передумала. И отстаньте все от нее.

Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун «Анна» смел молодое слаборазвитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина – еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу. Ибо сказано: кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте.

«Донос, что ли, написать на старуху», – сказала Галя. «Да, но куда?» – осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так и эдак – некуда. Разве апостолу Петру, чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камней и поехал ночью на Патриаршие пруды, чтобы выбить окна в бельэтаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито – не они одни такие умные.

Потом поостыли, конечно.

Теперь она лежала и думала о Филине: как он складывает пальцы домиком, улыбается, покачивает ногой, как поднимает глаза к потолку, когда говорит... Ей так много нужно было бы ему сказать... Яркий свет, яркие цветы, яркая серебряная борода с черным пятном вокруг рта. Конечно, Алиса ему не пара, и страну чудес ей не оценить. Да и не заслужила. Тут должен быть кто-то понимающий...

– Бла-бла-бла, – зачмокал Юра во сне.

...Да, кто-то понимающий, чуткий... Малиновый халат ему отпаривать... Напускать ванну... Тапки что-нибудь...

Вещи поделить так: Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель. Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину. Тостер. Зеркало из коридора. Мамины хорошие вилки. Горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуй.

Да нет, глупости. Разве может он понять Галину жизнь, Галино третьесортное бытие, унижения, тычки в душу? Разве расскажешь! Разве расскажешь – ну вот хотя бы как Галя раздобыла – хитростью, подкупом, нужными звонками – билет в Большой театр – в партер!!! – один-единственный билет (правда, Юра искусством не заинтересовался), как мыла, парила и завивала себя, готовясь к большому событию, как вышла из дому на цыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного, – а была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись наконец до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то – ой... Голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями – пырей вульгарный, снить окраинная, гнусняк вездесущий. И даже подол в дрянце.

И Галя – ну что она такого сделала? – просто тихонько прокралась в туалет и носовым платочком мыла сапоги и застирывала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба, – не из персонала, а тоже любитель прекрасного, – вся как лиловое желе, затрясла камееми: да как вы смэ-э-ете! в Большом тэа-тре! скоблить свои поганые но-оги! да вы не в ба-ане! – и понесла, и понесла, и люди стали оборачиваться, перешептываться, и, не разобравшись, сурово глядеть.

И уже все было испорчено, погибло и пропало, и Гале уж было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наяривали медленной рысью прославленный свой танец, – вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила

танцовщиц взглядом, различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, что все у них как у простых людей – и вросшие ногти, и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы – и по домам, по домам: в ледяное Зюзино, в жидкое Коровино, а то и на самую страшную окружную дорогу, где по ночам молча воет Галя, в ту непролазную жуть, где бы только хищной нелюди рыскать да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая беспечная трепетунья, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин, да повернется, выкарабкиваясь, – вот это будет фуэтэ!

Да разве расскажешь!

В марте он их не позвал, и в апреле не позвал, и лето прошло впустую, и Галя изнервничалась: что случилось? надоели? недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, стала забывать дорогие черты: теперь он представлялся ей гигантом, ифритом, с пугающе черным взглядом, огромными, искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды.

И она не сразу узнала его, когда он прошел мимо нее в метро – маленький, торопливый, озабоченный, – миновал ее, не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть!

Он идет как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к воощеным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, избегают на объединенные ступени; маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули – буф, буф! – по носу – и снова в карман; вот он встряхнулся как собака, поправил шарф – и дальше, под арку с чахлой золотой мозаикой, мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев.

Он идет сквозь толпу, и толпа, то сгущаясь, то редая, шуршит, толкаясь ему навстречу, – веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, оглушенные суетой.

Он идет, не оглядываясь, нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи, – вот подпрыгнул, как школьник, скользнул на эскалатор – и прочь, и скрылся, и нет его, только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда, шип и стук дверей и говор толпы, как говор вод многих.

И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в загс и там, заполняя документы, она обнаружила, что он – самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещички-то скорее всего не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедово! И что она гордо швырнула ему документы и ушла, не из-за Домодедова, конечно, а потому, что выходить замуж за человека, который вот хоть настолечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело.

Вот оно как... А они-то с ним знали! Да он ничем не лучше их, он такой же, он просто притворялся, мимикрировал, жалкий карлик, клоун в халате падишаха! Да они с Юрой в тыщу раз честнее! Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался?

Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила. Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже Джульки. Все ему высказать! Что церемониться? Он был один, и нагло ел треску под музыку Брамса, и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками.

– Галочка, вот сюрприз! Не забыли... Прощу – судак орли, свежий. – Филин подвинул треску.

– Все знаю, – сказала Галя и села, как была, в пальто. – Алиса мне все сказала.

– Да, Алиса, Алиса, коварная женщина! Ну, рыбки?

– Нет, спасибо! И про Домодедово я знаю. И про полярника.

– Да, ужасная история, – огорчился Филин. – Три года просидел человек в Антарктиде, и еще бы сидел – это романтично – и вдруг такая беда. Но Илизаров поможет, я верю. У нас это делают.

– Что делают? – опешила Галя.

– Уши. Вы не знаете? Полярник-то мой уши отморозил. Сибиряк, широкая натура, справляли они там Восьмое марта с норвежцами, одному норвежцу его ушанка понравилась, он возьми да и поменяйся с ним. На кепку. А на улице мороз восемьдесят градусов, а в помещении плюс двадцать. Сто градусов перепад температуры – мыслимо ли? С улицы его зовут: «Леха!» – он голову наружу высунул, уши – раз! – и отвалились. Ну, конечно, паника, вlepили ему строгача, уши – в коробку и сейчас же самолетом в Курган, к Илизарову. Так что вот... Уезжаю.

Галя тщетно искала слова. Что-нибудь побольнее.

– И вообще, – вздохнул Филин. – Осень. Грустно. Все меня бросили. Алиса бросила... Матвей Матвеевич носу не кажет... Может, умер? Одна вы, Галочка... Одна вы могли бы, если б захотели. Ну теперь я к вам поближе буду. Теперь поближе. Покушайте судачка. «Айнмаль ин дер вохе – фиш!» Что значит: раз в неделю – рыба! Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?

– Гёте? – пробормотала Галя, невольно смягчаясь.

– Близко. Близко, но не совсем. – Филин оживился, помолодел. – Забываем историю литературы, ай-яй-яй... Напомню: когда Гёте – тут вы правы – глубоким стариком полюбил молодую, преле-естную Ульрику и имел неосторожность посвататься, – ему было грубо отказано. С порога. Вернее – из окна. Прелестница высунулась в форточку и облаяла олимпийца – ну, вы же это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо – в ней фосфор, чтобы голова варила. Айнмаль ин дер вохе – фиш! И форточку захлопнула.

– Да нет! – сказала Галя. – Ну зачем... Я же читала...

– Все мы что-нибудь читали, дорогая, – расцвел Филин. – А я вам привожу голые факты. – Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. – Ну, бредет старик домой, совершенно разбитый. Как говорится, прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя!.. Сгорбился, звезда на шее – бряк-бряк, бряк-бряк... А тут вечер, ужин. Подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете? Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, – знаете, с шишками, – аромат... Так – дети сидят, так – внуки. В уголку секретарь его, Эккерман, примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял – бросил. Не идет кусок. Горошек уж тем более. Внуки ему: деда, ты чего? Он так это встал, стулом шурнул и с горечью: раз в неделю, говорит, рыба! Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели: «Разговоры с Гёте». Поучительная книга. Кстати, эту дичь – абсолютно уже окаменевшую, – до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее.

– А горошек куда же дели? – свирепея, спросила Галя.

– Коту скормили.

– С каких это пор кот ест овощи?!

– У немцев попробуй не съешь. У них дисциплинка!

– Что, про кота тоже Эккерман пишет?..

– Да, это есть в примечаниях. Смотря, конечно, какое издание?

Галя встала, вышла прочь, вниз и на улицу. Прощай, розовый дворец, прощай, мечта! Лети на все четыре стороны, Филин! Мы стояли с протянутой рукой – перед кем? Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, и речи твои – лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами.

Темнело. Осенний ветер играл бумажками, черпал из урн. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков – говяжьки кости, пюре «Рассвет». Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по щекам, заплюем лампы: и бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай!

А теперь – домой. Путь неблизкий. Впереди – новая зима, новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые травы, холод земляных пластов под боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа.

Лимпопо

Могилку Джуди в прошлом году перекопали и на том месте проложили шоссе. Я не поехала смотреть, мне сказали: так, мол, и так, все уже там закончено, машины шуршат и несутся, в машинах дети едят бутерброды и собаки улыбаются, проносясь в обнимку с хозяйками – мелькнули и нету. Что мне там делать?

Они в таких случаях обычно посылают родственникам и близким скорбное письмо: поживее, мол, забирайте ваш дорогой прах, а не то у нас тут ударная стройка, огни пятилетки и всякое такое. Но у Джуди родственников – по крайней мере в нашем полушарии – не было, а из близких был только Ленечка, да где теперь Ленечку найдешь? Хотя, конечно, его ищут всякие энтузиасты, кому не лень, но об этом потом.

А в прошлом году исполнилось пятнадцать лет, как Джуди умерла, и я, ничего не зная про шоссе, как всегда в этот день, зажгла свечу, поставила на стол пустую рюмочку, прикрыв ее хлебом, села напротив и выпила за помин души рябиновой наливки. И горела свеча, и смотрело зеркало со стены, и неслась за окном метель, но ничего не заплясало в пламени, не прошло в темном стекле, не позвало из снежных хлопьев. Может быть, не так надо было поминать бедную Джуди, а, допустим, завернуться в простыню, зажечь курительные палочки и бить в барабан до утра, или, скажем, обрить голову, помазать брови львиным жиром и девять дней сидеть на корточках лицом в угол, – кто их знает, как у них там в Африке принято?

Я даже не помню толком, как ее на самом деле звали: надо было как-то по-особому завывать, зубами клацнуть и зевнуть – вот и произнес; нашими буквами на бумаге не запишешь, а имя, – говорила Джуди, – на самом деле очень нежное, лирическое, означает – по справочнику – «мелкое растение из отряда лилейных со съедобными клубнями»; весной все отправляются на холмы, выкапывают эту штуку острыми палками и пекут в золе, а потом пляшут всю ночь до холодного рассвета, пляшут, пока не взойдет алое огромное солнце, чтобы, в свою очередь, заплясать на их лицах, черных, как нефть, на голубых ядовитых цветах, воткнутых в проволочные волосы, на ожерельях из собачьих зубов.

Так это все у них происходит или не так – теперь трудно сказать, тем более что Ленечка – вдохновенный сам по себе да еще и поощряемый Джудиной улыбкой до ушей – написал на эту тему кучу стихов (где-то они у меня и сейчас валяются); правда и вымысел так перепутались, что теперь, по прошествии стольких лет, и не сообразишь, плясали ли когда-нибудь на холмах, радуясь восходу солнца, черные блестящие люди, протекала ли под холмами голубая река, курясь на рассвете, изгибался ли экватор утренней радугой, повисая, тая в небе, и были ли у Джуди в самом деле шестьдесят четыре двоюродных брата, и верно ли, что ее дедушка с материнской стороны вообразил себя крокодиллом и прятался в сухих камышах, чтобы хватать за ноги купающихся детей и уток?

А все возможно! Почему нет? Это у них там экзотика, а у нас никогдашеньки ничегошеньки не происходит.

Пляски плясками, но Джуди, видимо, успела где-то перехватить клочок какого-никакого образования, ибо приехала к нам на стажировку (по ветеринарной части, бог мой!). Размотали платки, платки, платки; шарфы, клетчатые шали, шали из козлиной пряжи в узлах и занозах, шали газтовые, оранжевые, с золотыми продержками, шали голубого льна и поло-сатого льна; размотали; посмотрели: чему там стажироваться? – там и стажироваться-то нечему, а не то что со скотиной бороться: рога, хвосты, копыта, рубец и сычуг, помет и вымя, му-у-у и бэ-э-э, страшно подумать, а против корявого этого воинства – всего-то: столбик живой темноты, кусочек мглы, дрожащий от холода, карие собачьи глаза – и все, и больше ничего. Но Ленечка был сразу обворожен и сражен, причем резоны для этой внезапной

нахлынувшей страсти были, как и все Ленечкины резоны, чисто идеологические: умственный завихрянс, или, проще выражаясь, рациональная доминанта всегда была его основной чертой.

Ну, во-первых, он был поэтом и пылинки дальних стран много тянули на его поэтических весах, во-вторых, он, как опять-таки человек творческий, непрестанно протестовал, – неважно, против чего, предмет протеста выявлялся в процессе возмущения, – а Джуди возникла как воплощенный протест, как вызов всему на свете: обрывок мрака, уголь среди метели, мандариновые шали в крепком московском январе под Сретенье! – цитирую Ленечку. По мне – так ничего особенного. В-третьих, она была черна не просто так, а – как кочегар, – восторгался Ленечка, – а кочегар, наряду с дворником, ночным сторожем, лесником, привратником и вообще всяким, кто мерзнет ли в полушубке под жестокими звездами, бродит ли в валенках, поскрипывая снегом, охраняя ощерившуюся сваями ночную стройку, несет ли дремотную вахту на жестком стуле казенного дома, или же в тусклом свете котельной, у труб, обмотанных тряпьем, поглядывает на манометры, – был любимым Ленечкиным героем. Боюсь, что его представление о кочегаре было излишне романтическим или устаревшим, – кочегары, насколько мне известно, вовсе не такие черные, я знала одного, – но поэта простим.

Все эти профессии Ленечка уважал как последние плацдармы, куда отступили истинные интеллигенты, ибо на дворе зависло время, когда – по слову Ленечки – духовная элита, не в силах более взирать, как трещит и чадит в вонючем воздухе эпохи ее слабая, но честная свечка, отступила, повернулась и ушла под улюлюканье черни в подвалы, сторожки, времянки и щели, чтобы там, затаившись, сберечь последнюю свечу, последнюю слезу, последнюю букву рассыпанного своего алфавита. Почти никто не вернулся из щелей: одни спились, другие сошли с ума, кто по документам, кто на самом деле, как Сережа Б., что нанялся стеречь кооперативный чердак и как-то весною узрел в темном небе райские букеты и серебряные кусты с перебегающими огнями, поманившие его одичавшую душу предвестием Второго Пришествия, навстречу коему он и вышел, шагнув из окна четырнадцатого этажа прямо на свежий воздух и омрачив тем самым чистую радость трудящихся, вышедших полюбоваться праздничным салютом.

Многие надумали себе строгую светлую думу о чистом княжеском воздухе, о девушках в зеленых сарафанах, об одуванчиках у деревянных заборов, о светлой водице и верном коне, о лентах узорных, о богатырях дозорных, – пригорюнились, закручинились, прокляли ход времен и отрастили себе золотые важные бороды, нарубили березовых чурок – вырезать ложки, накупили самоваров, ходиков с кукушкой, тканых половиков, крестов и валенок, осудили чай и чернила, ходили медленно, курящим женщинам говорили: «Дама, а воняете», и третьим оком, что отверзается во лбу после долгих постов и умственных простоев, стали всюду прозревать волшебство и чернокнижие.

А были такие, что рвали ворот, освобождая задыхающееся горло, срывали одежды свои, отравленные ядом и гноем, и отрекались паки и паки, вопия: анафема Авгию и делам его, женам его и наследникам его, коням его и колесницам его, злату его и слугам его, идолам его и гробницам его!.. И, отшумев и отерев слюну свою, затягивали ремни и веревки на узлах и торбах, брали детей на руки и стариков – на загривки, – и, не оборачиваясь и не крестясь, растворялись в закате: шаг вперед – по горбату мостику – через летейские воды – деревянный трамплин – потемневший воздух – свист в ушах – рыдания глобуса, тише и тише, и вот: мир иной, чертополох цветущий, весенний терновник, полынный настой, рассыпается каперс и кузнечик тяжелеет, и... – ах и невинны же новые звезды, и золотые же скопища огней внизу, будто прошел, ступая широко и неровно, оставляя следы, кто-то горящий, – и роятся, извиваясь, золотые сегментчатые черви и сияющие щупальца, и вот – кроваво-голубой, облитый ромом и подоженный, обжигая глаза и пальцы, кружится, шипя в черной

воде, торт чужого города, а море дымящимися языками рек вползает в остывающее, потемневшее, уже замедленное и подергивающееся пленкой пространство, – прощай, помедливший, прощай, оставшийся, навек, навек прощай!..

А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком, под прохудившимся войлоком, а теперь вышли, честные и старомодные, попахивающие старинными добродетелями и ценными грехами, вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, – не тот это город, и полночь не та! – вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности: сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения, аминь; вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан, и изумленные игрой природы хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский песец, животное.

Но это теперь. А тогда – январь, черный мороз, двухсторонняя крупозная любовь, и эти двое, стоящие в прихожей моей бывшей квартиры друг против друга и с изумлением друг на друга взирающие, – а ну их к черту, надо было немедленно растащить их в разные стороны и в корне пресечь грядущие несчастья и безобразия.

Ну ладно, что ж теперь говорить.

Мы забыли ее настоящее имя и звали ее просто Джуди, что же касается страны, откуда она приехала, то я что-то не смогла найти ее в новом атласе, а старый сдала в макулатуру, – в спешке, не подумав, так как мне срочно нужно было выкупить макулатурное издание «Засупонь-реки» П. Расковырова: все же помнят, что этот двухтомник хорошо менялся на Бодлера, а Бодлер нужен был одному массажисту, который знал того маклера, что помог мне наконец с квартирой, хотя и попортил крови предостаточно. Не в том суть. А страны я не нашла. Видимо, после очередных боев, дележки, колдовства и людоедства Джудины соотечественники растащили в разные стороны и холмы, и дымную реку, и свежую утреннюю долину, распилили крокодилов на три части, разогнали народ и спалили соломенные хижины. Бывает. Там была война, вот в чем дело-то, потому Джуди и застряла у нас: денег нет, дома нет и на письма никто не отвечает.

Но поначалу она была просто закутанная, замерзшая и мало что понимавшая девушка, собиравшаяся лечить зверей и доверявшая каждому Ленечкиному слову.

Я-то его хорошо знала, Ленечку, еще со школьных лет, и потому ни доверять, ни уважать не могла, но другим – что ж, другим уважать никогда не мешала. В конце концов, он был славный малый, друг детства, – таких не уважают, а любят, – и мы с ним когда-то торопились сквозь одну и ту же утреннюю железную мглу, мимо тех же сугробов, заборов и качающихся фонарей в ту же красную кирпичную школу, опоясанную снаружи медальонами с алебастровыми профилями обмороженных литературных классиков. И общими были для нас тоска зеленых стен, полы, измазанные красной мастикой, гулкие лестницы, теплая вонь раздевалок и страшноглазый Салтыков-Щедрин на площадке третьего этажа, мучительный и неясный, туманно писавший про какого-то караса, которого требовалось осудить в полугодовой контрольной с лиловыми штампами гороно. Этот Салтыков то «бичевал язвы», то «вскрывал родимые пятна», и за бешеным, остановившимся его взглядом вставляли окровавленный фартук садиста, напряженные клещи палача, осклизлая скамья, на которую лучше бы не смотреть.

Крашенные эти полы, и мутный карась, и язвы, и свист ремня, которым порол Ленечку его отец, – все это прошло, горизонт, как говорится, заволокло дымкой, да и не все ли равно! Теперь Ленечка был вдохновенным лжецом и поэтом, – что одно и то же, – небольшим, кривоногим юношей, с баранно-блондинной головой и круглым, неплотно закрывающимся ртом битого кролика. Друзья, они такие. Они некрасивые.

Он был, конечно, борцом за правду, где бы она ему ни померещилась. Попадался ли в столовой жидкий кофе – Ленечка вбегал в общепитские кулуары и, именуя себя общественным инспектором, требовал отчета и ответа; стелили ли сырое белье в поезде – Ленечка воспламенялся и, тараня вагоны, громя тамбуры, прорывался к начальнику поезда, объявляя себя ревизором Министерства путей сообщения, и грозил разнести в клочья воровскую эту их колымагу, и кабину машиниста, и радиорубку, и особо – вагон-ресторан: потоптать пюре, раздрызгать борщи и полуборщи ударами могучих кулаков и всех, всех, всех похоронить под обрушившейся лавиной вареных яиц.

К тому времени, о котором идет речь, Ленечку уже выгнали из редакции вечерней газеты, где он, под лозунгом правды и искренности, пытался самовольно придать литературный блеск некрологам:

В СТРАШНЫХ МУЧЕНИЯХ СКОНЧАЛСЯ

Тер-Психорянц Ашот Ашотович,

главный инженер сахаро-рафинадного завода, член КПСС с 1953 года. за весь коллектив не скажем, но большинство работников расфасовочного цеха, двое из бухгалтерии и зампредместкома Л. Л. Кошечкина еще какое-то время будут вспоминать его незлым тихим словом.

Или:

ДАВНО ОЖИДАЕМАЯ СМЕРТЬ

Попова Семена Ивановича,

бывшего директора фабрики мягкой игрушки, наступила в ночь со 2 на 3 февраля, никого особенно не удивив и не огорчив. Пожил, и будет. 90 лет, шутка ли! Может, кто хочет поприсутствовать на похоронах, так они, скорее всего, в среду, 6-го, если подвезут гробы, а то у нас всяко бывает.

Или же:

ХВАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Полужетову Клариссу Петровну,

личность без определенных занятий, 1930 года рождения, горькую пьяницу. Найденная соседями на балконе, не подавала признаков жизни, и уж теперь-то, ясно, не подаст. Все там будем, что и говорить. Эхе-хе.

Или, наконец:

*Малютка Петр, с огнем играя,
Достиг теперь преддверья рая.
Вкушая райский ананас,
Малютка Петр, молись за нас!*

Ленечка был возмущен узостью и черствостью сотрудников газеты, не принявших его стилистики, он усматривал в их позиции скудоумие, стандарт, бескрылость и гонение на творческую интеллигенцию, – и, по-моему, вполне справедливо; усматривал небрежение русским словом, могучим и ядовитым, а в то же время нежным и гибким, усматривал нежелание расширить рамки жанра, а главное – лживость, лживость и презрение к простому и страшному, ждущему всех нас, акту смерти простого человека.

Он пил чай у меня на коммунальной кухне, вовлекая в спор и крик моего соседа Спиридонова, тоже измучившегося в борьбе с равнодушными: изобретенный Спиридоновым отрывной бумажный пятак стоил ему раннего инфаркта, развода с женой, исключения из партии и потери иллюзий. Бывший энтузиаст, а ныне потухший, седой человек, Спиридонов выходил со стаканом чая в железнодорожном подстаканнике, подаренном сослуживцами на юбилей, выставлял ванильные сушки, и они, эти двое, бубнили и кричали друг другу: «Гегели долбанутые... он мне говорит: а вы документацию обосновали?... Фантазия червя... я говорю: сколько ж одного металла псу под хвост кидаем, это ж Алтайские горы... мушиные мозги со склеротическими бляшками... все автобусные парки – так? весь метрополитен – так?..» – и плакали, обнявшись, о чистом, свежем, о незапятнанном, о доверии к мысли, о любви к человеку, о простой улыбке – да мало ли о чем плакали в те годы! Эх, ба, чу, фу-ты ну-ты, увы, ого – как печально писали в свое время составители учебника вздохов родного языка Бархударов и Крючков. «Пушкина проорали! – горячился Спиридонов. – Эх, Пушкина бы сюда!..» – «Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!» – обещал Ленечка.

Он изложил Спиридонову свой план. Я вроде бы интеллигент, так? – говорил Ленечка. Интеллигент... плакаты видели, знаете?.. это тот, кто изображается сзади, за рабочим и крестьянкой, в очках, так и просящих, чтобы по ним заехали, допустим, обрезком трубы или куском застывшего цемента, – с жиденькой, неуверенной улыбкой, готовой перейти в униженную: знаю, мол, знаю свое место!.. Он, плакатный, знает свое место: оно сзади, в дверях, у порога, – и одна ненарисованная нога уже нашаривает ступеньку вниз, обратный ход, путь к отступлению; это то место, куда швыряют, так уж и быть, обноски, обрезки, объедки, опивки, окурки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки. Что, дескать, встал!.. Я тебя!.. Ах, не нра-авится?! Не лю-юбишь?! А вот тебе, вот тебе, вот тебе! Взы его!.. п-пахло... Так и норовит цапнуть... Ощерился, вишь, – не нра-авится ему... А ну вали отсюда! с-скотина... Гнать, гнать взашей, эй, мужики, навались, вломим ему!.. А-а, побежал! Беги, беги... Далеко не убежишь... еще разговаривал тут, тля...

Недаром, недаром интеллигент изображается на официальных картинах – то бишь плакатах – сзади, изображается вторым и последним сортом, так же, между прочим, как на плакатах, взывающих к дружбе народов, вторым сортом идет негр – позади белого, чуть отступя. Мол, дружба дружбой, но ведь, товарищи, негр все-таки, понимать надо...

А посему интеллигент (Ленечка) и негр (Джуди) должны соединиться брачными узами, и этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс, – курчавый, пузатый, смуглый такой плюс; повезет – так сразу будет Пушкин, не повезет – еще раз ухнем, и еще раз ухнем, а то внуков дождемся, правнуков, и, в гроб сходя, благословлю! – постановил Ленечка. «Дерзай», – вздохнул Спиридонов и ушел, унося юбилейный подстаканник, на котором три серебряных спутника облетали земную горошину с одной-единственной страной на выпуклом боку.

Ленечка стал дерзать.

Момент для этого был самый, надо сказать, туманный, так как именно в это время выяснилось, что Джуди, или как там ее на самом деле звали, остается без гражданского статуса, то есть начисто безо всякого статуса, – на месте ее африканской родины открывается театр военных действий, одна страна ее не признает, другая выпихивает, третья приглашает интернироваться на неопределенное время, а наша исключительно сожалеет, разводит руками, причесывается, продувает расческу, любезно улыбается и рассеянно смотрит в окно, но решительно ничего утешительного на данный туманный момент предложить не может. Не бьет, и то спасибо.

Тетя Зина, Ленечкина тетка, не подозревая еще, какую свинью ей и ее благополучию собирается подложить племянник, говорила Джуди: «Доча, держись. Всем трудно», но дядя Женя, ее муж, находившийся, между прочим, на взлете своей дипломатической карьеры и

ждавший – так уж получилось – назначения в противоположный Джудиному угол африканского континента, не одобрял контактов с иностранной подданной, хотя бы и бездомной, и по мере приближения часа окончательного оформления своих документов все острее и бдительнее следил за собой, чтобы не сделать ложного шага в том или ином направлении. Так, он запретил тете Зине подписаться на «Новый мир», памятуя о его недавней, еще не прошедшей ядовитости, вымарал из записной книжки всех знакомых с подозрительными окончаниями фамилий и даже, поколебавшись, какого-то Нурмухаммедова (о чем позже горько жалел и, мучая глаза, рассматривал листок на свет, чтобы восстановить номер телефона, так как это оказался всего лишь жулик по ремонту автомобилей) и в последнюю, кризисную неделю даже побил и спустил в мусоропровод все импортные консервы, вплоть до болгарского яблочного джема, и уже покушался на республиканские продукты, но свекольный хрен тетя Зина отстояла своим телом.

И вот вам, пожалуйста, – в тот самый момент, когда он довел себя до неслыханной, невероятной, нечеловеческой идейной чистоты, когда он почти уже светился, как хорошая, спелая хурма, – все косточки просвечивают и ни единого пятнышка, как ты его ни верти, не найдешь, – нет, нет, нет, не участвовал, не привлекался, не имею, не состоял, не намеревался, не произносил, не встречался, никогда не думал о, в жизни не слышал, в голове не держал, не имел ни малейшего представления, и ни днем, ни ночью не имел покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет, – вот в этот самый момент мальчишка, сопляк, племянник, а выражаясь научно – близкий родственник, мараает, понимаете ли, его репутацию, по сравнению с коей отшельники горы Афон – просто хулиганы, пишущие в лифтах неприличные слова, псы, и чародеи, и злободееи, и убийцы, и идолослужители!

Так вот, дядя Женя устроил пронзительный визг и биение об пол, так как из-за Ленечкиных матримониальных устремлений его карьера повисла на волоске, а он уже мысленно съездил, отслужил и вернулся, и привез кучу добра: и настенные маски, и коврики, и торшер с начесом, не говоря уже о вещах крупногабаритных; он уже предвидел, как будущие, через пять-шесть лет имеющие возникнуть гости, перейдя из сапог в тапки, обойдут по периметру гостиную, с виду беспристрастные, а в душе раздираемые завистью; как он разрядит атмосферу вечера шутками: достанет из пакетика и будет бросать об стену резинового гонконгского паука, чтобы тот, цепляясь и обрываясь, и снова цепляясь, мерзко сползал по стене под счастливые крики и испуг дам; как они будут пить чай из синей банки, где на крышке пляшет такая цыпа в шальварах – в ноздре брильянт, а в глазах, знаете, эдакое – ложная такая невинность; индийский будут пить они чай, а кое-кто, невелик пан, перебьется и грузинским, – короче, дядя Женя предполагал жить роскошно, жить вечно, но Бог судил иначе, и скажу уж, забегая вперед, что когда он, после нескольких блистательных месяцев своей состоявшейся-таки африканской карьеры, посетил национальный заповедник, где дразнил палкой павиана, – то зазевался и был разорван в мельчайшие клочки каким-то проходившим мимо ихним животным. Словно предчувствуя что-то, словно томясь, он все же успел до своей кончины выслать в подарок Ленечке вышеупомянутого липкого паука, но посылка шла так долго, что по прибытии паук оказался просроченным и сползать не хотел, а просто шмякался; так долго, что уже и газеты, обещавшие, что светлая память о дяде Жене навсегда останется в наших сердцах, были сданы в макулатуру, чтобы обернуться, в вечном круговороте превращения материи, обоями по восемьдесят копеек, очередь за которыми длинна и печальна, словно насмешка над нашими чаяниями.

Но все это было позже, а в тот момент дядя Женя был еще живым и счастливым мужчиной: и жена у него была какая надо – дочь военнослужащего, и плитка в сортире салатова, чешская, и на стене – для благонадежности – висела балалайка. Так что визг его был вполне закономерен и оправдан.

Он навизжал – на правах младшего, но преуспевшего брата – на Ленечкиного отца, указав ему на черт знает какое воспитание, данное детям: Ленечке, оскандалившемуся в кулуарах печати, – а ведь мог, щенок, вырасти в крепкого, спортивно-международного журналиста, если бы слушался дядю; Светлане, Ленечкиной сестре, девушке распушенной, склонной шляться по кафе и кататься на машинах неизвестно с кем; заодно попало и младшему, Васильку, ученику пятого класса, решительно ни в чем не повинному и даже только что занявшему второе место на городской олимпиаде по санкам. Он навизжал на жену, тетю Зину, обвинив в попустительстве, ротозействе, потакании и в том, что муж ее двоюродной тети некогда собирался устроиться на работу в КБ, а между тем дедушка одного из бывших сотрудников этого КБ жил по соседству с мужиком, владевшим в 1909 году двумя коровами; а это может быть расценено как заведомо опасная близость к кулацким кругам; навизжал на кота, с приближением марта все чаще поглядывавшего за окно, на дворника, на торговку редиской в подворотне, на лифтершу, на сторожа кооперативной автостоянки, на начальника ЖЭКа и даже на хомяка, жившего в клетке на кухне, причем хомяк, выслушав дядю Женю, тут же умер.

Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен, должно быть, визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека: податливая сухая почва пылит и крошится, и вздуваются, выходя из земляных гнезд, корни, – близко, близко у глаз; и уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей, – он-то останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком; ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.

И было мне его жаль, как всегда бывает жаль раздавленных, разбитых в кровь, пришившихся без глаз.

Между тем Ленечка, приказав Васильку приступить к выпиливанию лобзиком полочки, на которую он поставит сочинения будущего Пушкина, вплотную занялся образованием Джуди и обращением ее в свою поэтическую веру. Ни к себе домой, ни, естественно, к дяде он ее привести не мог, и моя коммунальная кухня, оживляемая инвалидом Спиридоновым, оглашалась безумными Ленечкиными текстами, протестами и тостами.

«Ну что ты хочешь? Говори! все сделаю!» – разбрасывал Ленечка стандартные любовные посулы, напившись чаю с пряниками инвалида.

Джуди смущалась. Она хочет скорее стать ветеринаром... Она хочет приносить пользу и лечить зверюшек... Коров, лошадей... – Милая, это не называется: зверюшки, это крупный рогатый скот!.. – Лошади – не рогатый... – Напрасно так думают! Напрасно! – кипел Ленечка. – Рога у лошадей были, но отпали в процессе эволюции, когда лошадь слезла с деревьев, повинувшись общественной потребности, и вышла в поле, к мужику, где рога только мешали. А у вас в Африке есть коровы и лошади? А они впадают в зимнюю спячку? – веселился поэт. И объяснял Джуди, что корова, сдав все дела и распорядившись насчет теленка, уходит в лес, роет ямку и, уютно устроившись, свернувшись калачиком, спит до весны, заматаемая снегом, с нежной улыбкой, сомкнув прелестные свои очи, воспетые в нашем и не нашем эпосе, и снятся ей быстрые ручьи да зеленые луга в россыпях ромашек, – а охотники, построившись цепью, уже идут на зимний промысел с фонарями и красными флажками, и шарят граблями по сугробам, и поднимают спящую ухватами, – вот почему мясо у нас только мороженое, это ж вам не зебу.

А вот сойдут снега, Джуди, дорогая, поедем за город, в густые леса и широкие поля, – ели темные, пни огромные, – увидишь нашу северную фауну: кудрявых шелковых соловьев с голубыми очами, белорунных овец о серебряных копытцах, что поют чудные песни с припевами над бегущими водами, а какие у нас коты в кафтанах рытого бархата с медными пуго-

вицами, а какие козлы – знала бы ты – политически грамотные, опрятные, с твердой гражданской позицией, в стальных очках! А наши пауки, а мухи – веселые, в красных сапожках, с пряниками под мышкой, – скажи, Спиридонов! Выше голову, Спиридонов, пьем за паука!

Нельзя сказать, чтобы мне очень уж нравился этот ежевечерний шабаш, эта колготня и чаепитие на моей небольшой территории, – у меня были свои планы на жизнь и кое-какие мечты: выйти замуж, перевезти к себе маму из Фрязина или поменяться на однокомнатную квартиру; все это, правда, как-то, едва наметившись, путалось и разваливалось, и не то чтобы не было мужей или вариантов обмена, – все было, но какое-то завалищенькое, убогое, пятого сорта, с изъянами и кавернами, флюсами и перекосами.

Нельзя же было всерьез отнестись, например, к жениху Валерию: крепкий, высокий, очень себя за это уважавший, с лицом милиционера или ответственного работника, Валерий ел много мяса, держал дома гири, эспандеры, велосипед, лыжи и еще какие-то необязательные спортивные загогулины; его мечтой было купить синий пиджак с металлическими пуговицами, но тот не давался ни за какие деньги. Без пиджака Валерий чувствовал себя выпавшим из жизненных пазов. Как-то осенью мы шли с ним по ветреной набережной Яузы, был оранжевый холодный вечер, летели последние листья, в небе зажглась чистая звезда и повеяло близкой зимой, тоской, новым, бессмысленным, неотвратимо приближавшимся годом; ветер поднял и бросил в нас городскую, подмерзающую пыль. Валерий остановился и зарыдал. Я постояла, пережидая, разглядывая небо и звезду в пустоте; я понимала, что слова – ничто, что утешения не надо, понимала, что это – горе, крах, крушение: синий пиджак выходил из моды, проплыв мимо Валерия; розовым утренним облачком, мимолётным видением, журавлями, ангелом в лунной вышине уплывал пиджак, – поманил, растревожил, смутил душу, вошел в сны и прошел, как прошли, отшумев и отблистав, роскошные, пестрые и пряные царства Востока. Отплакав, Валерий утер красной рукой свое негибкое комсомольское лицо, и мы пошли дальше, притихшие и печальные, и расстались у овощного магазина на углу, с тем чтобы больше никогда не встретиться.

Не годился в женихи и Гарик, духовный человек. Не то чтобы меня смущали постоянные обыски в его конуре: государство все нападало на Гарика, отбирая его духовные бумажки и картинки, отнимая любимые книжки, а иногда забирая и самого Гарика; не то чтобы меня пугали шестеро его детей от предыдущей жены, – Гарик был добрый, любящий, милый и на редкость изворотливый юноша: и детей кормил, и бумажки как-то быстренько, неутомимо хлопоча, восстанавливал, – а вот что-то скучно мне было: послушать его – все «вертоград» да «вертоград», да пути, да искания, да благодать, да все сладчайшее да нерукотворное, а жизнь идет – плохая, но единственная, а в конуре у него хлам, тряпье, пыль, и бутылки с клеем на подоконнике, и постная кашка в подгорелой кастрюльке, и рубище на шатком гвоздике... И неужели же этот, вот этот мир, тщедушный и безобразный, и был обещан и нашептан, возвешен и предчувствован, когда все начиналось, когда раскрывались невидимые ворота и звучал неслышимый гонг?

По правде сказать, хотелось любви, да она и была, потому что любовь есть всегда, вот тут, в тебе, только не знаешь, с кем ее разделить, кому поручить нести чудесную, тяжелую ношу, – тот слабоват, и этот скоро устанет, и вон те, – бежать от них прочь, пока тебя не расхватили, как пирожки с повидлом у «Детского мира», бросая пятак и заворачивая свою добычу в промасленную бумажку.

Да, хотелось чего-то такого – тяжелее Валериевых гирь и легче доморощенных крылышек Гарика, хотелось уехать или уйти, или долго, долго говорить, а может быть, слушать, и воображался кто-то неясный: спутник, друг, прохожий, и мерещился путь: ночная тропа, запах прели, капли с мокрых кустов, смех в темноте, и огонь впереди: деревянный дом, и вымытый пол, и книга, в которой про все написано, и всю ночь, до утра – шум высоких, невидимых деревьев.

И еще... но неважно. Была реальность: кухня, крики, седая щетина Спиридонова, ныряющая в стакан с чаем, теснота и эти двое, эта противоестественная парочка с далеко идущими планами. Форточку мы плотно закрывали, чтобы не слышать далекий, острый как игла, нескончаемый и мучительный крик дяди Жени.

– Вот что, старуха, – намекал Ленечка, – если тебе дороги судьбы российской словесности, отчего бы тебе не вынести раскладушку на кухню?

Я не хотела ни спать на кухне, ни «пойти погулять», ни уехать на недельку во Фрязино, и Спиридонов тоже не хотел, но Ленечка ругался, боролся и поносил нас, – как приватно, в рабочем порядке, так и в стихах, для вечности, – и покупал нам со Спиридоновым билеты в кино на двухсерийные фильмы с киножурналами.

Уже шумела весна – холодная, ночная; уже гудел ветер в деревьях, и в ветре летела вода, и птицы, каркая, сбивались в клубки над сквозными деревьями, над проржавевшими куполами; чистые лужицы дрожали, отражая огни пельменных, рюмочных, чебуречных, и в воздухе дышали, летели, бежали тревога, жизнь, желания – общие, невостребованные, ничьи, – а я брела под руку с угрюмым, волочившим ногу инвалидом Спиридоновым по кривым переулкам, под московской, мусульманской луной, и нога его, зашнурованная в ботинок за четырнадцать рублей тридцать копеек, чертила по Москве длинную, извилистую линию, словно вспахивая бесплодный городской асфальт, словно готовя борозду под неизвестные индустриальные семена. А потом в кинозале, в подмокших пальто, нахохлившись, исподлобья смотрели – я и инвалид – на какой-то мелькающий прокатный стан, болванки, корявых героев труда, раскаленные брусы железа, трактора, свиной-рекордсменов, на плешивых, хорошо покушавших людей в шевиотовых костюмах, растирающих в пальцах колоски, на поток льющегося на нас идеологически выдержанного зерна, – смотрели, покорно ожидая, пока где-то там, из факта дружбы бездомных народов не завяжется беззаконный младенец Пушкин как последняя наша надежда.

К лету Пушкина все еще не было, а жизнь моя стала совершенно невыносимой: международные любовники устроились в моей комнате как у себя дома, ели лапшу из кастрюльки, играли на зурне, ходили голыми и даже пытались разводиться на полу костер в каком-то железном кульке; Ленечка купил Джуди для научного развлечения белых мышей и белого же, мужского пола, кота; будучи убежденным пацифистом, Ленечка навязывал коту свои взгляды: разработал систему просветительных лекций и проводил практические семинары по воздержанию от мышеедения.

С деньгами у Ганнибалов было всегда плохо: Ленечка устроился было на полставки в женский календарь как обозреватель рецептов национальных кухонь. Но правдолюбие и здесь сослужило ему дурную службу, так как в календаре не хотели низких истин, критиканства и разоблачений, не хотели рецепт майского салата начинать словами: «Будем откровенны: жрать нечего», не хотели посланий и проповедей вроде: «Если рыночный помидор тебе по средствам, остановись и спроси себя: так ли ты жила? Где согрешила? Когда оступилась, свернув с узкой стези добродетели на торную дорогу соблазна?..» – и его опять выгнали, и он опять гордился и негодовал, и немедленно завел себе пару друзей, а вернее, учеников и последователей, – бородатых, в помятой одежде, увешанных крестиками и бубенчиками, с блуждающими улыбками и отрешенными коровьими взорами, и, пригласив их к себе, а вернее, ко мне, читал им назидания, учил выбирать неложные пути и предъявлял в качестве наглядного примера кота, который, испытав силу Правдивого Слова, стал уже совершеннейшим буддистом и трансцендировал все земное и проходящее, а также пробегающее.

Теплое лето, опустевший воскресный город – я уходила слоняться по переулкам, выбирая старые, глухие углы, где пахнет пивом, пролитым в пыль, дешевой штукатуркой, досками строительных заборов, где из стен домов торчит dranka, а одуванчики – топчи их, не

топчи – невинно и тупо пробиваются у подножий сараев и храмов со времен Ивана Калиты. Тяжкий блеск церковного купола вдали, немолчный и бессмысленный шелест листьев, уже потускневших, бегучие пятаки солнечных пятен, вонь и ветошь вокруг гаражей, трава в тени лип и земляные плешки во дворах, на площадках, где сушат белье – тут прожить, тут и умереть, так никого и не встретив, никому ничего не сказав.

Может быть, и был один человек в другом городе... но неважно, какая разница, если ничего из этого не вышло, и сейчас, после стольких лет, я одна выпью рюмку рябиновой наливки за помин Джудиной души и долго буду смотреть в пламя свечи, и ничего в нем не увижу, кроме сияющего лепестка с белой сердцевинкой, кроме пустоты, горящей в пустоте?

Прощай, Джуди, скажу я ей, не ты одна пропала ни за грош, пропадая и я, все звери моей породы разбежались кто куда – ушли за зеленые летейские воды, за стеклянную стену океана – он не раздвинется, чтобы дать проход; кто зазевался – подстрелен, охотники славно поохотились, усы их в крови, и к зубам прилипли свежие перья; а те, что прыснули во все стороны в отчаянной жажде выжить, – поспешно переоделись в чужие шкуры: прилаживали рога и хвосты у осколков зеркал, натягивали перчатки с когтями, и теперь уже не отдрать бутафорскую, мертвую шерсть. Я встречаю их иногда, и мы смотрим друг на друга мутно, как из-под воды, и надо, наверно, что-то говорить, а говорить бессмысленно, как тогда, когда уезжаешь, а тот, другой, провожает, и ты стоишь в вагоне, за двойным немытым стеклом, а тот, другой, – на перроне, в порывах ночного дождя, и вы оба напряженно улыбаетесь: все слова сказаны, а уйти нельзя, и киваешь головой, и чертишь пальцем на ладони волну: «пиши», и тот, другой, тоже кивает: понял, понял, напишу, – но он не напишет, и вы оба это знаете, а поезд все стоит, все не трогается с места, все никак не начнутся толчки, белье, рубли, долгий говор соседей, темный приторный чай, промасленная бумага, тусклый промельк фонарей на пустом полустанке, бисерное, вспыхивающее золото дождевого пунктира на стекле, косой и грешный взгляд солдата, качающаяся теснота коридора и срамной холод сортира, где грохот колес сильней и оскорбительней, и из полумрака близко и нелестно смотрит на тебя твое собственное отражение – унижение – поражение... – все это впереди; а поезд все стоит и не трогается, и твоя улыбка натянута и готова сползти, оплыть слезою, и в ожидании толчка, конца, последнего взмаха ты шевелишь ртом, шепча бессмысленные слова: восемьдесят семь, семьдесят восемь; семьдесят восемь, восемьдесят семь, – и по ту сторону глухоты тот, другой, тоже шевелится и с облегчением лжет: «обязательно».

Тут как раз Спиридонов, испортивший зубы дешевыми сушками и сокрушительным ежевечерним кипятком, вынужден был заказать себе новые коронки. Рассеянный инвалид полагал, что ставит золотые, однако его прямо во рту обворовали на приличную, как выяснилось позже, сумму. Впрочем, разнообразие металлов в его пожилом рту создало редкий, но чудесный эффект: Спиридонов стал сам, безо всяких дополнительных приборов, принимать радиопередачи. Из него плыли тихие танго, далекие иностранные голоса, молитвы, вопили футбольные матчи, бушевавшие неведомо где; работал он обычно на коротких волнах и включался к вечеру. В ранние часы он передавал какую-то дребедень – «Вам, пытливые» или же концерт по заявкам механизаторов, но чем больше сгущалась тьма, тем таинственнее бормотал и смеялся мир, и огни вырывались из мрака, и какие-то цветные фонари, и барабаны... И где-то бежала вода, вся в огнях – что это за вода, и что это за огни, и о чем говорят барабаны, – откуда нам знать!.. А в полночь инвалид вещал, кажется, по-португальски. А может быть, и не по-португальски, откуда нам знать! Ах, какой это был прекрасный язык! Плоский тугой океан мерно бил в берег длинной, как хлыст, волною, пестрые паруса входили в гавани, и каменные ступени спускались к воде, и пахло ракушками и вареным рисом, и суровые женщины громко пели под красными крышами о цветах, об убийцах, о кораблях, груженных мочалом и лаковыми коробочками, птицами и бусами, лиловым шелком и душистым перцем. А может быть, все там было совсем не так, – откуда нам знать, если мы этого

не видели и никогда, никогда, никогда не увидим, – никогда, до самой смерти, до скрипа дешевого крашеного гроба из сырого горбыля, спускаемого на волосатом вервие толчками, рывками, последними земными аршинами в осенний супесок, суглинок, краснозём!.. – до последней астры, царского цветка, вдавленного в ноябрьскую землю, с головкой, откушенной каблуком сизого, торопливого могильщика! Никогда, никогда, – пел Спиридонов; никогда, – плакала я, «никогда», – кричал Ленечка, – время встало, пространство высохло, люди попрятались по щелям, купола проржавели и заборы оплетены белым вьюнком, крикнешь – не слышно, взглянешь – не поднять сонных век, пыль стоит до облака, и могила Пушкина заросла густой лебедою! – кричал Ленечка. Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоюют, то ногами застучат! Гуси-лебеди с усами, – страшно девице одной; это ты, Иван Сусанин? Проводи меня, родной! Нашим планам нет предела, всем народом рвемся ввысь, и в распухнувшее тело раки черные впились! Едут греки через реки, через синие моря; все варяги едут в греки, ничего не говоря. Холодок бежит за ворот, пасть разинул соловей: не сдастся лютый ворог милой родине моей. Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним; «кукареку», – вопит в клетке шестикрылый серафим; птичка Божия не знает ни пощады, ни стыда: сердце с мясом вырывает и сжирает без следа. А струна звенит в тумане, а дорога всё пылит... Если жизнь тебя обманет, – значит, родина велит.

Но Спиридонов, глухой к Ленечкиной упадочнической поэзии, мечтал о своем, и планы его были грандиозны: какие-то антенны, усилители, мотки проволоки, радиолампы, цветомузыка, – да что цветомузыка, он уже собирался озвучивать воображаемые танцплощадки и стадионы, он уже размышлял о телевизионном изображении, о фестивалях, кроссах дружбы, вручении олимпийских медалей, установке поздравительных статуй на родине – в мраморе по шею, в бронзе по титьки, в граните, с мечом в руках, в пятиэтажный рост; он уже срывал горы и прорубал туннели, перегораживал плотинами реки и перекраивал республики, он уже выходил в открытый космос и оттуда, сверкая фиксами и вращая телескопическими глазами, огромный, как Кинг-Конг, сбивал баллистические ракеты и устанавливал вечный мир во всем мире. А Пушкина все не было.

Тут в квартиру наведальсь бдительные товарищи из домоуправления, возглавляемые стариком Душкиным, который, если поскальзывался на улице или если прокисала сметана, иначе как в Политбюро не писал. Товарищи хотели знать: зачем шум и музыка и почему ночью свет? Документики попрошу. Спиридонов взял вину на себя: он изобретатель, работает по ночам, звуки зурны и барабана его стимулируют. Вынес он и показал также свою почетную грамоту за 8-й класс 415-й мужской школы Красногвардейского района, публикацию в «Науке и жизни»: «Сделайте из старых зубных щеток удобную новую швабру» и музейную вещицу: текст работы Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», выполненный инкрустацией из рыбьих костей по моржовому бивню неизвестным народным умельцем. Но если нельзя, сказал Спиридонов, то он больше не будет, а документы в порядке, правила проживания нам известны. Мы, слава богу, не маленькие, знаем, что все запрещено: стоять ночью на обочине МКАД, работать без упора, дергать без надобности, заслонять кабину шофера, получать более 600 граммов в одни руки, нарушать целостность упаковки, принести и распивать, ставить вещи на поручни, торговать с рук, открывать до полной остановки, выгуливать без намордника, провозить зловонное, ядовитое и длинномерное, разговаривать дольше трех минут, спускаться и ходить по путям, высовываться, влезать, фотографировать, оказывать сопротивление, квакать, свистеть, трижды кричать на заре василиском и производить распиловку дров после 23 часов вечера по местному времени.

С товарищами из домоуправления лучше было не шутить; я выгнала Ленечкиных учеников, белый кот ушел сам, подговорив мышей странствовать вместе, – кстати, к осени эту компанию видели в верховьях Волги: кот шел, опираясь на посох, в венке из незабудок, отрешенный; мыши, шесть штук, бежали следом, неся мелкие пожитки, соль и спички, – боюсь,

что они зажигали костры в неположенных местах, а мы за них отвечаем; и вдобавок дядя Женя, – уже прибывший к месту назначения, уже прошедший неспешно по казенным комнатам своего нового жилья, уже подергавший, проверяя на крепость, окна, двери, замки, жалюзи, уже распаковавший чемоданы с галстуками в полосочку, галстуками в клеточку, галстуками в павлиний глаз, уже объяснивший тете Зине, как пользоваться кондиционером («Жень! А, Жень! Чего-то я тут... Чего-то не пойму!») – дядя Женя ни на минуту не утратил бдительности и послал Ленечке письмо диппочтой – копию Ленечкиным родителям, – предупреждающее, чтобы тот прекратил сам знает что и не вздумал это самое; что кое-кто предупрежден и проследит со всей строгостью, ибо на то уполномочен; а если Ленечка не перестанет кое-что, то дядя Женя даст знать кое-куда и тогда будет ай-яй-яй. И пусть Ленечка не думает, что если дядя Женя кое-где, то ему хоть бы хны. Нет, все очень серьезно, потому что – сам понимаешь, а тем более сейчас, когда... – вот именно. Так-то.

Бедный дядя Женя, он писал, задумывался, подбирал оттенки смысла, а смерть его уже вышла из дальних лесов и, приносиваясь, побежала на мягких лапах, играя мышцами, ему навстречу. Дядя Женя дописал, выпил доступного кофе и глянул в пустую чашку, – и вся кофейная гуща мира, все ромашки, все линии на ладонях, и рисунок дальних звезд, и колоды карт с насупленными королями и самонадеянными валетами уже сложились в простой гробовой узор, доверчиво открывая дяде Жене его близкую судьбу, но он не прочел ее, ибо это знание не было ему дано. И дядя Женя заклеил конверт и задумался о фруктах будущих лет, о морском купании, о шинах для нового автомобиля, о бумагах отчетов и петлях интриг, – сладко-сладко задумался о вещах, которые, конечно же, случились, но не имели к нему уже ни малейшего отношения. Странно думать, что он умер почти в одно время с Джуди и, пронзая метафизические выси, столкнулся с ней, быть может, в сером свете потусторонних светил, не узнав.

Дядя Женя не шутил – он пошевелил доступные ему рычаги, и в октябре – хорошо помню этот день – паника, Ленечкины крики, Джудины слезы, а ночью, в южной стороне неба, – далекая дрожащая заря дяди Жениного злорадства, – в октябре Джуди вызвали в одно неприятное место – казенный дом – и предложили сейчас же уехать вон, куда угодно, но только чтобы вон. Понятно, что мы не спали всю ночь, что Ленечка произносил декабристские речи, что его сестра Светлана, вся густо накрашенная, в крутых локонах, несмотря на поздний час (а вдруг за поворотом любовь?), курсировала от нас к своим родителям (мама-то была совершеннейшая овца, а папа – посвирепей), передавая, с одной стороны, радикальные планы брата: жениться, эмигрировать, уехать на север, на юг, на Марс, устроить акт самосожжения на Пушкинской площади и так далее, а с другой стороны – все, что полагается в таких случаях, и, когда под утро Светлана сообщила, что состоялся телефонный разговор с южным полушарием, – причем эти сообщили: «Леня кое-что», а тот ответил: «Вызывайте кое-кого», – мы все: любовники, Спиридонов, Светлана и я – бежали, как говорится, в неизвестном направлении, причем по дороге перессорились; Светлана хотела к морю, так как очень любила моряков и то, что они привозят в подарок девушкам Светланиного образа жизни; я предлагала Фрязино, где у мамы был свой домик, обсаженный черной смородиной и люпинами, Ленечку манила тайга (как всегда, по идеологическим соображениям), и в результате победил Спиридонов, отвезший нас в город Р., где проживала его сестра Антонина Сергеевна, большое городское начальство.

Хотя начальству в городе Р. жилось, как всегда, лучше, чем простым людям – к майским праздникам можно было получить по спискам зефир и китайские полотенца, а то и «Сказки Бирмы» в красочном переплете, а на ноябрьских постоять на отопливаемой трибуне, задушевно помахивая варежкой смерзшимся массам, и многие простые люди, разметавшись ночами в постелях, мечтают о такой жизни, но все-таки и у начальства тоже свои драмы, и ни к чему, мне кажется, так уж сразу, с порога, злословить или завидовать. Так, Антонина

Сергеевна, приютившая нас, где-то там в своих эмпиреях отвечала за горячие трубы, и когда в городе Р. стал проваливаться асфальт и люди безвозвратно падали в под-земный кипяток, эмпиреи поставили вопрос об ответственности Антонины Сергеевны за этот незапланированный бульон. Но ведь асфальт-то, асфальт был не в ее ведении, а в ведении Василия Парамоновича, и строгое предупреждение следовало вынести ему, – сердилась Антонина Сергеевна, хлопая ладонью по светлому полированному столу в учреждении и по темному у себя дома. Но Василий Парамонович как раз в момент проваливания людей отсутствовал – один генерал пригласил его в Нарьян-Мар поохотиться с вертолета на колхозных оленей – и строго предупреждаться решительно не хотел. Он указал Антонине Сергеевне на свою дружбу с генералом как на дополнительный, лилейный оттенок белизны своих номенклатурных риз и намекнул на то и то, а также на вот это, и, ловко все подведя и передернув, подчеркнул, что если бы не проржавели трубы Антонины Сергеевны, то вода не размывала бы асфальт Василия Парамоновича. Правильно? Правильно. Пока шли взаимные перекоры, вода подмыла деревья Ахмеда Хасяновича, каковые рухнули и придавили пару бездомных собак Ольги Христофоровны, которой и без того пора было на персональную пенсию. Естественно, она-то и понесла в конце концов всю меру ответственности, так как ей припомнили, что подведомственная ей служба недоотстреляла ничейных собак, и они в течение всего отчетного периода оскорбляли достоинство наших людей в скверах и на детских площадках, а достоинство наших людей – это золотая, неразменная монета, залог и гарантия нашего постоянного заведомого успеха, нашей поднятой головы, ибо лучше умереть стоя, в кипятке, чем жить на коленях, подбирая всякое там не хочу даже говорить что за ее распущенными собаками, – безродными, подчеркнем, собаками! – а кроме того, не исключено, что именно ее собаки повалили деревья, разрыли асфальт и прогрызли горячие трубы, что и повело к сварению в родной земле, ни пяди которой мы не уступим, четырнадцати человек, причем западные радиоголоса клеветуют, что пятнадцати, но господа – как и всегда, впрочем, – просчитались, так как пятнадцатый выздоровел и заступил на трудовую вахту в артели слепых по производству липкой ленты «Мухолов», и облыжная клевета заокеанских прихвостней и энтээсовских кликуш и подпевал годится только под рубрику «Ха-ха» в районной газете.

Таким образом, истинное лицо Ольги Христофоровны было вскрыто, и она без оглядки бежала на пенсию республиканского значения, чтобы вплотную засесть за создание боевых мемуаров, ибо скакала в свое время в эскадроне, знавала Щорса и даже была награждена именною шашкой, и поныне висевшей поперек настенного, малинового в синих зигзагах ковра, подарка от дагестанской делегации, под которым на узкой кровати, укрывшись военным одеялом, тосковало ночами ее никем не востребованное девичество.

Замечу уж кстати – полноты картины и справедливости ради, – что Антонина Сергеевна, смалодушничав и спихнув с себя вину в истории с вареными р-скими гражданами (а кто бы не смалодушничал?), – Антонина Сергеевна в целом осталась на высоте положения, прекрасно понимая и ценя роль Ольги Христофоровны и ее вклад в наши успехи, в наше светлое, как она говаривала, сегодня; она не вычеркнула, как вполне могла бы, Ольгу Христофоровну из списка престарелых, охваченных тимуровским движением, а ежегодно, в октябре, направляла к ней двух переходного возраста подростков с топором для рубки дров к зиме; в свою очередь, Ольга Христофоровна, из деликатности не дававшая знать, что дом ее давно уже переведен на центральное отопление и в дровах не нуждается, подростков не гнала, поила чаем с айвовым вареньем, показывала, не жалея белой герани на подоконниках, как рубают шашкой, и даже посылала их по дружбе за папиросами – ибо курыка была отчаянная – в недалекий ларек, каковой подростки и вскрыли топором под Новый год, унеся четыре кило леденцов и по две пачки макаронных изделий «Рожки» для мамы и бабушки; на суде они ссылались на Прудона, учившего, что собственность – это воровство, а также проявили хорошее знание трудов Бакунина; уходя в колонию, обещали по возвращении подать

заявления на философский факультет и долго махали вослед всплакнувшей Ольге Христофоровне тюремными носовыми платочками.

К слову сказать, отличная была баба эта Антонина Сергеевна, хотя и совершенно не нашего круга: зубы стальные, голова в кудрях и загривок высоко подбрит. «Девки! – говорила она нам. – Вы ж не деловые, ну вас к богу в рай, что мне с вами делать?» Пиджак у нее был начальственный, несгибаемый, под пиджаком теплые и необъятные, хотя уже и пожилые просторы в розовой блузке, на горле деревянная брошка, а помада яркая, парижская, ядовитая, – мы все почувствовали это на себе, когда Антонина Сергеевна вдруг вскакивала из-за обильного стола («помидорков-то! помидорков накладывайте!») и с чувством прижимала наши головы к животу, целуя с нерастроченной силой.

Антонина Сергеевна приняла наш табор как должное, сказала, что очень, очень, очень рада нашему приезду, много хлопот, много работы, и мы ей, конечно, поможем. Дело в том, что в Р. предстоял праздник: ждали в гости племя Больших Тулумбасов, являющееся коллективным побратимом всей Р-ской области. Был запланирован трехдневный фестиваль дружбы, по случаю чего всё начальство ходило в пятнах волнения. Задумка была серьезная: предстояло создать все условия, чтобы тулумбасы чувствовали себя как дома. Срочно воздвигались фанерные горы и ущелья, веревочный комбинат плел лианы, а свиней, для перекраски в черный цвет, более близкий сердцу побратимов, заставили дважды пересечь вброд речку Уньку, отмеченную еще в летописи XI века («И приде князь на Уньку реку. И бе зело широка и видом страхолюдна»), но ныне утратившую стратегическое значение.

Антонина Сергеевна немедленно, сдвинув тарелки, разложила на столе бумаги и, отмахиваясь от домашней моли, ввела нас в суть споров руководства. Сама она предложила развернутый план: интернациональное лазание по гладкому столбу, сауна для вождя, посещение фабрики строчевышитых изделий с вручением подзоров и рушников; ознакомительная экскурсия по городу: руины женского монастыря, дом, где, по преданию, стоял другой дом, строящаяся булочная, возложение комьев земли к деревцу дружбы, подписание совместного протеста против международной напряженности там и сям и чай в фойе дома культуры. Василий Парамонович выдвинул встречное предложение: встреча с активом, экскурсия в кислотный цех химзавода, концерт хора дружинников, вручение памятных конвертов, подписание проекта о выдвижении кого-нибудь из тулумбасов в почетные члены отряда космонавтов и пикник на берегу Уньки с разжиганием костров и рыбной ловлей; подзоры он предложил заменить трудами Миклухо-Маклая на языке урду, в неограниченном количестве поступившими в местные магазины. Ахмед же Хасянович упрекнул коллег в отсутствии фантазии: все это уже было, сказал он, когда принимали делегацию индейцев вакавака, нужны свежие идеи: массовые заплывы, прыжки с парашютом или, наоборот, спуск в местные карстовые пещеры, а лучше бы всего – двухнедельный дружеский переход через пустыню или, наоборот, тундру, причем уже сейчас надо утрясти маршрут и расставить вдоль всего пути ларьки с лимонадом и витыми сметанными плюшками. Преподнести же лучше всего копию известной картины «Муса Джалиль в Моабитской тюрьме», поскольку она содержит все, что можно пожелать для картины: и национальное, и народное, есть в ней и протест, и оптимизм, выражаемый лучами света, льющегося из зарешеченного окна. Антонина Сергеевна возразила, что окна на картине, насколько ей помнится, нет, а если она ошибается, то тем не менее: тюрьма там изображена изнутри, что может и опечалить, не лучше ли картина «Всюду жизнь», где тюрьма видна снаружи, а из окна высовываются милые детские мордашки, рождающие теплые чувства даже у неподготовленного зрителя? Василий Парамонович, в искусстве не сильный, примирительно сказал, что самое надежное – это плакат «С каждым годом – шире шаг», их на складе несколько сот рулонов, можно подарить каждому из побратимов. На том они и порешили, но теперь Антонина Сергеевна хотела знать наше мнение, как людей, крепче овечьих столицей.

Надо отдать должное Антонине Сергеевне: Джудино прошлое, настоящее и будущее, внешний вид, имя, дурное произношение и одежда, обилием и качеством наводящая на мысль о продукции фабрики «Трехгорная мануфактура» в конце квартала, абсолютно ее не волновали: Спиридонов знал, куда нас вез. Джуди так Джуди, тулумбасы так тулумбасы, пять человек гостей или двадцать пять – Антонине Сергеевне, как женщине мыслящей категориями и документами, было совершенно все равно.

А уже смеркалось, и в Спиридонове проснулись дальние острова, закипел океан, зашевелились Тринидад и Тобаго, ветерок плеснул в верхушки пальм, упал кокос, выбросил новую колючую стрелку слепой коралл, и раковины раскрыли створки в теплой тьме лагуны, и в дымном сне жемчужницы проплыл, должно быть, Париж, – серым дождем, в винограде огней проплыл, содрогаясь, Париж, как сладкое предчувствие загробного существования. Взвизгнули скрипки, словно тормоза небесных колесниц.

– Ты все-таки будь сдержаннее, Кузьма, – заметила Антонина Сергеевна, подняв голову от бумаг и невидяще глядя поверх очков. – Так вот, тут еще Василий Парамонович хочет вызвать дирижабли – у него хорошие знакомства – и натянуть между ними праздничные полотнища – серпы немножко, золотые колосья, – эскиз завизирован, – как символы мирного труда. В связи с этим к вам вопрос, товарищи москвичи: текстовка к колосьям нужна, как вы считаете?

При слове «текстовка» Ленечка немедленно, с опасной скоростью начал политически возбуждаться, и, заметив эти нехорошие признаки (пот, дрожь, зарницы протеста в глазах), мы все тихо отступили на крыльцо.

Ранняя осень уже вползла в город Р. И торчала там и сям – где бурями кустами, где плешью в листве покорившихся деревьев. Пахло курами, сортиром, мокрой травой, вставала луна, такая медная и такая огромная, словно уже наступил конец света; Спиридонов курил и вместе с дымом из его рта выходила музыка иных миров; небритый и хромой, пожилой и неумный, он был избран кем-то, дабы свидетельствовать о другой жизни, далекой, невозможной, недоступной – такой, в которой никому из нас не было места. А нашим местом был город Р., заранее понятный, истоптанный и исхоженный, хоть направо пойдешь, хоть налево, хоть спускайся в подвалы, хоть заберись на конек крыши и, упираясь скользящими ногами в проржавевшую жесть и обхватив теплую, картошкой пропахшую трубу, кричи на весь свет, кричи рдеющим лесам, синим туманам в холодных сжатых полях, кричи пьяным трактористам, сползшим в борозду с трактора, и волкам, объедающим трактористам штаны и шею, и маленьким сельским магазинам, где лишь сухой кисель да резиновые сапоги; кричи уснувшим жукам и улетающим журавлям, кричи одиноким черным старухам, забывшим дрожь перед свадьбой и вой в изголовьях гробов; кричи: все известно наперед, все истоптано, проверено, обыскано, сосчитано и перетряхнуто, выхода нет, выходы закрыли; в каждом доме, окне, чердаке и подвале уже ходили, проверяли: трогали бочки, дергали шпингалеты, вбивали или вырывали гнутые гвозди, обшаривали осклизлые от плесени или подсохшие с углов подвалы, ковыряли рамы, отколупывая коричневую краску, вешали и срывали замки, двигали кипы свалывшейся бумаги; нет ни одной, пустой, случайно как-нибудь забытой комнаты, угла, коридора; нет стула, на котором бы не посидели; не сыскать медной, душно пахнущей дверной ручки, за которую бы не подержались, скобы или засова, который не двигали бы туда-сюда, – выхода нет, да и сторожа нет, – просто уйти не дано.

А эти, – те, что поют и шумят в огне и дыму в незаконном рту инвалида, – не ищут ли и они выхода в той, своей вселенной, ныряя, прыгая, танцуя, вглядываясь из-под руки в морской горизонт, провожая и встречая корабли: здравствуйте, матросы, что привезли вы нам: ковры? чуму? серьги? селедку? – расскажите скорее, есть ли иная жизнь, и в какую сторону бежать, чтобы ухватить ее золотистый краешек?

Тяжко вздохнула Светлана, страдая от того, что по всей земле, в шахтах и на самолетах, в ресторанах и каторжных норах, в ночном дозоре и под праздными белыми парусами, недостижимые и прекрасные, шевелятся мужчины, которых она не встретит, – маленькие и огромные, с усами и автомобилями, галстуками и лысынами, кальсонами и золотыми перстнями, с карманами, полными денег, и страстным желанием потратить эти деньги на Светлану, – вот, сидящую себе тут, всю в кудрях и пудре, на вечернем крыльчке и согласную крепко и неотвязно полюбить каждого, кто ни попросит.

И Джуди сидела, сливаясь с темнотой, и молчала, как и все. Она давно уже, кажется, молчала, но только сейчас, когда Спиридонов исполнял соло на трубе, стало вдруг слышно, как глухо, бессильно и черно ее молчание, подобное покорному, одинокому молчанию зверя, – того фантастического зверя, которого она хотела лечить, еще не зная и не видя того, кто позвал ее, поманив копытом или когтистой лапой; на поиски кого она, замотавшись в платки и шали, храбро отправилась вдаль, за моря и горы, – тихого, теплого, полезного друга, покрытого мягкой шерстью, с глупыми темными глазами, с редкими волосами на морде, с таинственной пустотой, дующей из ушей, изрытых розовыми хрящами и каналами, с молоком в атласном животе или столбом прозрачного семени в завитых тайниках чресел; с длинными, винтовыми рогами, с хвостом, подобным волосам гейши поутру, с серебряной цепочкой на шее и маргариткой в беспечной пасти, – зверя ласкового, верного, небывалого, придуманного во сне.

Мне захотелось обнять ее, погладить ее шершавую голову и сказать: ну что, что ты хочешь от нас, глупая женщина, чем мы можем тебе помочь, если и сами не знаем, кого звать, куда бежать, что искать и от кого прятаться? Все мы бежим в разные стороны: и я, и ты, и Антонина Сергеевна, вспотевшая от безмерной государственной ответственности, и дядя Женя, уже далекий, южный, почти потусторонний, уже удобно потопывающий ногой в новенькой экономной сандалиии, чтобы отправиться на свою последнюю прогулку, с которой он не вернется; и кавалер-девица Ольга Христофоровна, хотевшая как лучше, но сбитая влёт хотевшими как еще лучше коллегами, – вот всходит луна и мучает Ольгу Христофоровну забытыми снами, забытыми полями, изрытыми копытами конницы, свистом призрачных сабель, дымом беззвучных ружейных выстрелов, запахом каши из коллективных котлов, запахом овчины, крови, юности и неполученных поцелуев. Оглянись вокруг, прислушайся, а не то раскрой книги: все бегут, бегут – прочь от себя или на поиски себя самого: бесконечно бежит Одиссей, кружа и топчась в мелком блюде Средиземного моря; три сестры бегут в Москву, неподвижно и вечно, как в кошмаре, перебирая шестью ногами и не двигаясь с места, бежит доктор Айболит, тоже, вроде тебя, размечтавшийся о каких-то заморских больших зверях – «и вперед побежал Айболит, и одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!». Москва, Лимпопо, город Р. или остров Итака – не все ли одно?

Но ничего этого я не сказала, потому что тут звякнула калитка, и из затуманенных росой кустов боярышника вышел, белея вышитой рубашкой, Василий Парамонович, любитель воздушных путей, а с ним об руку – Перхушков, районный идеологический дракон.

– Ктой-то? – весело и тревожно гукнул Василий Парамонович из сумерек. – А я вот согласовывать иду, да планы новые несу, да и слышу: хулиганит кто-то с музыкой. А это никак братец к Антонине Сергеевне пожаловали? А милости просим! До дома, до хаты!

– Что это? – встрепнулся и Перхушков, чуя во тьме темноту Джуди. – Неужели иностранные товарищи прибыли? Бронь-то с двадцатого!

И вернул нас в дом, где помидорки с коньяком и видом своим, и действием возрождали глухие исторические воспоминания о Бородинской битве.

– К утру ждем эскадрилью, – сказал Василий Парамонович. – Эх и торжественно будет!

– А где ж она сядет? – удивилась Антонина Сергеевна.

– А нигде не сядет: у них допуска нет, – отвечал Василий Парамонович, покосившись на Перхушкова, и Перхушков кивнул. – Они кружиться будут и фигуры изображать. Завтра отрепетируют, а уж когда товарищи побратимы подойдут, тут они всю красоту и покажут.

– А нельзя ли с истребителей красные гвоздики сбрасывать? Бумажные? – спросила Антонина Сергеевна.

– На бумагу лимиты мы вон когда еще выбрали – в июне! Эх ты, Антонина,хватила – бумагу!

– А если частный сектор подключить, что для кладбища цветы вяжет?

– Ни в коем случае! Они же вяжут розы, не гвоздики, а розы аполитичны, – вмешался Перхушков. – Надо же понимать разницу. Вообще кладбище – это большая наша боль и тревога, – взгрустнул Перхушков, – запущенный, признаться, участок идеологической работы, – какой-то не свойственный нашему обществу дух уныния, угнетенности, причем с оттенком мистицизма: кресты, склепы, а кое-кто даже позволяет себе пессимистические надписи или сооружает цементных ангелочков, каковые суть незамаскированные подрывники материализма и эмпириокритицизма. И подумать только, что на камнях и надгробиях высекают – совершенно безответственно – не только дату рождения, но и дату так называемой смерти, причем ни та, ни другая зачастую не согласовывается с компетентными организациями. Это – прямой космополитизм. Вот почему сейчас задуман почин вносить строгое замечание – строгое! – в учетные карточки усопших товарищей, если на их могилах будут зафиксированы мистические фигуры и несогласованные цифры – ведь не можем же мы допустить, чтобы три источника и три составные запчасти учения засорялись и разбазаривались привнесенными извне херувимчиками. А взять другие узкие места! Да что далеко ходить – вон, два квартала отсюда, интернат для престарелых, ведь что делается, если копнуть! Гайдук, Андрей Борисович – заслуженный работник, медали от проймы до проймы, к прошлым ноябрьским аж китель клиньямы надставляли, трижды лауреат Голубого Меча, – совершенно забывается, под кроватью зайчиков ловит, позорит органы! Бойко Раиса Николаевна – уж, кажется, все условия созданы, на политсеминары ее на каталке привозят, камфара – пожалуйста, капельница – на здоровье, кислородная подушечка – милости просим, все под рукой! Так ведь Ясперса с Кьеркегором путает, не может семнадцать причин постепенного перерастания перечислить и настаивает, что апрельские тезисы были прибиты Мартином Лютером Кингом к Берлинской стене! Что это? А Иванова Суламифь Семеновна? Добро бы из бывших, так нет, интеллигент в первом поколении, кандидат наук и все что полагается, и даже изобрела в свое время какой-то там сироп для успокоения нервов, очень популярный в конце тридцатых годов, так что сам Михаил Иванович Калинин ее поздравлял, прикалывал ей к груди медальку, обнимал и целовал, пожимал руки, ноги, шею, всё, – очень горячо приветствовал! – так вот эта Суламифь впала в такой жестокий склероз, – а скорее всего не склероз это, а диверсия, – что воображает себя юной капризницей, причем самого дурного тона: подайте ей, значит, какие-то букеты сирени, она будет в них валяться, и пусть, дескать, эльфы с опахалами навеют на нее, к примеру, зефиры или там, страшно вымолвить, сирокко, – и это наша-то, советская старуха допускает такой политический просчет! Ну какое, друзья, по чести, может быть в нашей стране сирокко?

Перхушков заплакал, крутя головой, и Светлана, влекомая к мужским выделениям, будь то хоть слезы, – подобно змее, влекомой к теплу, – приникла к ослабшему комиссару и принялась вытирать все сорок его очей светлыми своими локонами, для крепости вымоченными накануне в сахарном сиропе и накрученными на газету «Красная звезда».

И вообще, говорил Перхушков, давась тоскою, как страшно и трудно жить на свете, друзья! Какие драмы, коллизии, ураганы, бури, смерчи, циклоны, антициклоны, тайфуны, цунами, мистральи, баргузины, хамсины и бореи, не говоря уж о лон-жень-фынах, случаются на каждом шагу в духовной нашей жизни! О! Вот буквально только что этим летом, да что

там, в августе, вот в этом самом августе Перхушков пережил драму, описать которую не возьмется ничье перо – еще не ослеп такой Гомер, чтобы поднять эту тему. Ад, – горько рассказывал Перхушков, – это просто вечеринка с девушками, это, не сказать худого слова, ЦПКиО им. Горького на фоне того, что с ним было! Да этот всемирный дурачок Данте, якобы шаставший со своим дружкой Вергилькой по адским кругам, случись ему пережить такое, просто удавился бы на месте, не стал бы зря мучиться! С первого по четырнадцатое августа – траурные дни, недели плача – Перхушков пережил разлуку с родиной. Да. В Италию. Да. Туда – самолетом, а назад – чтобы умножить муки – поездом. И вот – ранняя седина (Перхушков отодвинул Светлану и показал седину) и горькие, испещрившие буквально все лицо, уши и даже затылок морщины.

Как описать – ведь Перхушков не Гомер, не Лопе де Вега и даже не поэты Плеяды – это одиночество, эту разбитость, эту глубокую, безысходную депрессию? А этот гнет, как бы разлитый в воздухе? В Италии всегда серое, серое небо, – описывал Перхушков, – низкие свинцовые тучи сгустились над плоскими крышами и так тяжело давят, давят. Вой ветра едва оживляет пустые и жалкие улочки. Пройдет, сгорбившись, старуха, проползет нищий, помаживая окровавленной культей, обернутой в грязную тряпицу, и вновь – тишина. Редкие снежинки, медленно кружась, падают в ужасающей духоте. Густой промышленный дым черными клубами застилает кривые переулки городов, так что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, да и смотреть там не на что. Итальянцы – угрюмый, мрачный народ, сгорбленный от многовекового непосильного труда, с впалой чахоточной грудью и постоянным кровохарканьем, так что все улицы покрыты кровавыми туберкулезными плевками. Редко-редко слабая улыбка освещает бледное, испитое лицо итальянца, обнажая бескровные десны, лишенные зубов, – и то, лишь если встретит нашего, советского, – тогда тянет итальянец свои худые руки в обрывках лохмотьев и тихо хрипит: «товарищ! Кремль!» – и вновь бессильно роняет ослабевшие конечности.

Посреди Италии возвышается угрюмая черная крепость – Ватикан. Страшные зловонные рвы окружают крепость с четырех сторон, и лишь скрипучий подъемный мост раз в год опускается на ржавых цепях, чтобы впустить грузовики с золотом. Воронье кружит над Ватиканом, зловеще каркая, а выше носятся вертолеты, а еще выше – Першинги. Изредка из-за стен крепости раздается хриплый смех – это смеется папа римский, мрачный старик, которого никто никогда не видел. Уж он-то сыт и богат, у него свои стада и поля, так что ест он каждый день и колбасу, и сало, и пельмени, а по праздникам – пиццу. В подвале Ватикана – гарем, там томятся сотни прекрасных девушек, среди которых есть и наши, советские, променявшие родные просторы на чечевичную похлебку. Да просчитались – чечевицу им дают раз в год, на Восьмое марта, а так – одну баланду. Да и парашу не каждое утро выносят.

Стража Ватикана ужасающа – кто ни приблизится, стреляют без предупреждения. Шаг влево, шаг вправо тоже считается попыткой покушения на папу римского. Вот почему никто с ним ничего поделывать не может. Хорошо тренированные овчарки и колючая проволока под током довершают гнетущее впечатление.

Крысы в Италии шныряют так густо, что автомобили практически не могут проехать. Да и у кого есть деньги на автомобили? – горько вскричал Перхушков. – Разве у толстосумов и богатеев! Эти-то катаются как пармезан в масле, день и ночь попивая вино в пышных дворцах и соборах и громко смеясь над простыми итальянцами, а те лишь бессильно сжимают исхудавшие кулаки. Полки магазинов пусты, и часто, а вернее постоянно, можно видеть, как маленькие дети, – все, кстати, как один на костылях, – дерутся у помойных бачков из-за куска хлеба.

– Кто же выбрасывает хлеб, если в магазинах ничего нет? – встрепелась в ужасе Антонина Сергеевна.

– Мафия, – строго сказал Перхушков. – Хлеб выбрасывает мафия.

– Бож-же...

– Да. И вот я вам это смело говорю, потому что нам с вами бояться нечего, но за разоблачение этой ее тайны мафия убила всех комиссаров полиции, всех прокуроров республики, всех карабинеров и теперь держит в непрекращающемся страхе членов их семей – вплоть до двоюродных бабушек. А сама живет в пышных дворцах и соборах и громко смеется.

Перхушков был настолько расстроен видом пышных дворцов и соборов, с отвращением возведенных простыми средневековыми угнетенными, что не мог даже смотреть на эти омерзительные постройки, еле видные сквозь дым, и закрывал глаза руками, вся наша делегация тоже ходила, крепко зажмурившись. Совсем другое, светлое чувство охватывало его при взгляде на покосившиеся лачуги простого итальянского люда, и уж по-особому тепло, с умилением провожал он глазами простых безработных и простых угнетенных, ползущих мимо на костылях, а одного он даже догнал и дал ему рубль с профилем Ломоносова. Если же встречал кого побогаче – в гневе стискивал кулаки и скрежетал зубами, а меж бровей у него немедленно залегала суровая складка, окончательно разгладившаяся лишь на обратном пути, в Чопе, при смене колес. С самого начала Перхушкова мучила тоска по родине. Еще при оформлении документов он начал тосковать и не находить себе места. Более того! Едва слово «Италия» было произнесено в первый раз, как Перхушкова пронзила такая нестерпимая тоска, что он как птеродактиль вылетел во двор и мертвой хваткой обхватил березку, посаженную на недавнем субботнике, так что пришлось его отдирать вместе с листочками и корой, – перед разлукой Перхушков хотел хотя бы насосаться березового сока. И, сидя в самолете, он тосковал: жадно прильнул к иллюминатору и следил распухшими глазами, как убегает назад родная земля. Когда же самолет пересек границу, Перхушкова обожгло как раскаленным прутком, ударило, подбросило, он сорвался с кресла, расшвыривая сахар и соль в пакетиках, пластмассовый стаканчик с минеральной водой, котлетку в томате – таком родном! – и кинулся, рыдая, к запасному выходу, откручивать засовы, так что его с трудом удержали две стюардессы, бортмеханик и второй пилот, тоже распухшие от слез и тоски по гречневым просторам. Такие же приступы ностальгии, все учащаясь, настигали его и в Италии, так что ночами он метался и кусал стиснутые, побелевшие кулаки, а днем сидел в своем номере на койке с потухшим взглядом, опустив голову и свесив плетьюми руки, беспрестанно бормоча: «Родина, родина, родина». Товарищи звали его в покосившиеся театры, пить неприятное вино, кататься в дырявой гондоле – куда там. Так что понятно, что, встретив соотечественника – нашего, тверского, – Перхушков бросился к нему и так крепко стиснул, что задушил в объятиях, в связи с чем были даже небольшие неприятности с трупом, пришлось писать объяснительную записку в учреждение, командировавшее покойника в капстрану, и немножко хлопотать о пенсии вдове и сиротам, но это неважно, важно нестерпимое патриотическое чувство, охватившее Перхушкова при возвращении: чувство гордости за родину, за ее небеса и другие аналогичные просторы, за ее величественные свершения, широкий шаг, уверенную поступь и высокие надои.

– Родина, – закричал взволнованный Перхушков, – да что же может быть дороже родины в свете последних постановлений? Ничего! И ведь сколь мудры эти золотые Последние Постановления с их пронзительным светом, как вовремя и в то же время неожиданно они случаются, каким глубоким ожогом прожигают нам душу, аки меч блистающий, обоюдоострый, взаимоволнистый, несказанным сиянием исполненный, несокрушимый, неразъемный, непобедимый паки и паки! И то – как жили бы мы без Постановлений, мы, жалкие, белые, нагие, слепые и дрожащие, подобные хладным червям и безногим водяным личинкам? О, уподобить ли нас тлям прозрачным, в дремучем невежестве и животном безверии зеленый лист грызущим; о, уподобить ли нас инсектам простейшим, в капле колодезной воды без понятия толкующимся? О, сравнить ли нас с амебами неразличимыми, жаждущими

и страшась разделения в самих себе, – и попусту, греховно жаждущими, ибо ничто, разделившееся в себе, не устоит; о, как темно, пусто и страшно нам без Постановлений, как робко ползаем мы, пугаясь шорохов и скрипов, меж каменистых пустынных отрогов, как жалобно скулим, протягивая руки, щупальца, членики, жвальца, хватальца и осязательные волоски во тьму кромешную, откуда лишь хлад и рык зловонный: просвети! о, просвети!.. И как тускло, словно подернутые туманом и ржавчиной, светят нам остывшие, отгоревшие, прежние Последние Постановления, утратившие свою актуальность и злободневность, как дева – цвет юности, как розан – весеннюю пыльцу...

Но се – бьет час, и не предугадать его, гремит глас – и кто посмеет предчувствовать его? – разверзнутся небеса, и раздираются покровы, и Зверь стоочитый, число коего есть двенадцать, как бы весь в пурпуре и багрянце, и в грохоте нестерпимом являет себя, вращая ногами;

– и митра его есть папаха драгоценного каракуля, и одежды его суть драп цвета вечерних туманов;

– перси и чресла его суть рубин и золото чистое, беспримесное, плащаница его двубортна, и число застежек равно числу песка морского;

– в головах его звезда Сарынь, в ногах – мертвец; препоясан он зубцами невыразимыми;

– и, подъяв трубу, трижды восклицает он голосом, подобным шуму вод: «есть, есть, есть Последние Постановления!»

И с силой несравненной, с шумом таковым же разворачивает Зверь список последних Постановлений, и свет их, соотечественники, – свет их подобен взрыву тысячи солнц, и, завидя его, всякий мрак, скверна и нечистоты бегут, скрываясь с лица земли, изрыгая бесильную хулу.

– Вот опишите это, друг мой, юный поэт, – просил Перхушков Ленечку, – опишите как гражданин, как солдат, как рядовой. И пусть книга сия будет во рту нашем сладка, как мед, в чреве же нашем горька, как корень полыни каракумской, как мумиё памирских пещер, как соль озер Эльтон и Баскунчак, действие же ее да будет очищающим подобно действию соли карлсбадской.

Перхушков отодрал от себя Светлану, встал и одернул гимнастерку, тельняшку, китель, пиджак, бурку, кожанку, плащаницу и черную мантию на лазоревой подкладке, – все одернул, что на нем было или же только мерещилось.

– А насчет родины, – сказал он с порога, пронзая испуганную Джуди сорока очами, – я разъяснил. Кто может вместить, да вместит. Кто не может – мы сами вместим куда следует. – И, прикрыв часть очей, сверкнул шпорами и вышел.

– Да, – вздохнула Антонина Сергеевна, – что ж, дома-то, конечно, лучше, кто спорит. В этом году и масло в магазинах было, а в заказах – так по три пятьдесят постоянно есть.

– Дрожжи были, – подтвердил Василий Парамонович.

– Были дрожжи. Мука всегда. Я не знаю, что еще надо. Ветеранам изюм. И живи себе, и никакой Италии не нужно.

– Что ж, он не по своей воле ездит, – заметил Василий Парамонович. – Служба такая. А насчет описать сюжет – это он верно. Это хорошо. Вы, молодой человек, пишете, а вы вот меня послушайте, – рекомендовал он Ленечке. – Я вот тоже даю вам сюжет. Вот, скажем, товарищ некий. Простой, русский. Фронтовик, между прочим. Два ранения, причем одно не так чтобы тяжкое, ну, допустим, в мягкие ткани, скажем так. А второе похуже. Да. Второе посерьезней будет. Ну, не в этом, конечно, дело, это уж на ваш полет фантазии. Вот приходит он с фронта, сразу на завод вальцовщиком, тут девчата, конечно, симпатичные, одна такая... бойкая... ну, это тоже на ваш полет. Не в том дело. Ну, годы идут. Выдвигают его на руководящую работу. А годы идут. Он на руководящей, худого слова не скажу. Но! Вот, понима-

ете, в чем сюжет, ну не продвигают его выше-то, ну ни в какую. Вот он с Кузнецовым мыло варит, с Агафоновым мыло варит, – это я к примеру, – ну мертвое дело. Вот как словно бы за гвоздь штанами зацепился, по-простому говоря. Что же такое, думает. Что такое. Да... Вот вам сюжет. Жизненный. А то пишут: пташки-комары. Поцелуи. Все не по делу. А вы, как будете в Москве, опубликуйте, – вот это, что я вам сказал. Кто понимает – приужахнется, точно вам говорю. Волнения даже могут быть. Войска, может, подтягивать придется. Так что вы эдак легонько, без нажима. На тормозах. Лады?

Накануне прибытия тулумбасов Ольга Христофоровна проскакала через город Р. На колхозном коне с черным знаменем в правой руке и с ультиматумом в левой. Она требовала отмены денег, пайков, талонов, требовала закрытия столов заказов, отмены экзаменов в школах и вузах, объявляла свободу лошадям, собакам и попугаям, буде таковые случатся в личном пользовании жителей города Р.; она требовала уничтожения заборов, замков, ключей, занавесок, ковров, простыней, наволочек с прошвами и без прошв, подушек, перин, домашних тапочек, нижнего белья, носовых платков, бус, серег, колец, брошек и кулонов, скатертей, вилок, ложек, чайной и кофейной посуды, – за вычетом граненых стаканов, – галстуков, шляп, дамских сумок, изделий из шерсти, шелка, синтетики, вискозы и полихлорвинила. Ольга Христофоровна разрешала оставить в личном пользовании жителей города Р. не более одного стола, двух табуреток, ведра цинкового одного, кружек жестяных с ручками (трех), ножей складных (двух), примуса, с ежемесячной регистрацией, одного, и полутора кубометров дров на семью; одеял – одно *per capita*, папирос и зажигалок – *ad libitum*.

А кроме того, Ольга Христофоровна объявляла, что природа отныне переименовывается ею раз и навсегда, в мировом масштабе, и отныне городу Р., а также всему миру даруются осенние дожди имени Августа Бебеля, туманные рассветы имени Веры Слуцкой, облака Ногина, зори Урицкого и краснознаменные метели имени пробуждающихся женщин Закавказья.

И в заключение Ольга Христофоровна удостоверяла, что ее учение верно, потому что оно правильно.

Так что в связи с опасным поведением Ольги Христофоровны на подмогу была вызвана близлежащая военная часть, тем более необходимая, объяснил Василий Парамонович, что и без того только и жди эксцессов со стороны населения: бывают ведь случаи, когда горячие головы из местных прорываются к побратимам и требуют передать в ООН ту или иную заведомую клевету: будто бы пшено заражено жучком, или же рыбу продают рогатую, и, стало быть, якобы облученную, меж тем как если ей и случается бывать рогатой, то совсем по иным, частным, известным только ей самой причинам, или же в маргарине попадают мужские носки и трудно намазывать на хлеб, что неверно. Мажется прекрасно.

С юга подступали тулумбасы, с севера – неограниченный контингент войск, в зените зависли дирижабли, украшенные усатыми колосьями и кратким сопровождающим текстом: «Ой, рожь, рожь!» – все остальное было вымарано цензурой, а между югом, севером и зенитом скакала Ольга Христофоровна, как дух отмщенья, и подземные каверны, гудя освобождающимся кипятком, гулко отзывались на удары конских копыт.

В ожидании встречи с побратимами руководящие товарищи взошли на холм, и Антонина Сергеевна потребовала, чтобы мы как столичные гости и отчасти родственники тоже постояли на холме с рушниками и хлебом-солью на вытянутых руках. Василий Парамонович надел свой самый плотный костюм и электронные часы, Ахмед Хасянович трижды побрился и теперь с тревогой ощупывал быстро синеющую, рвущуюся вновь прорасти щетину, Антонина Сергеевна выглядела так, словно недавно умерла и теперь нарядно, за большие деньги, мумифицирована; холодный ветер раздувал ее кудри, где мелькали забытые впопыхах, неотстегнутые бигуди; Перхушков тоже был где-то тут: притворялся валуном, обросшим поздними, заиндевевшими подорожниками, а может быть, вон той корягой. Рябина пылала, обе-

щая скорую метельную зиму, и далеко, насколько хватает глаз, видны были далекие леса в осенней дымке, желтые уже и бурые.

И серый свод неба над нами, где выла, проносясь, не имеющая где присесть, эскадрилья, и далекие бурые леса, и холм посреди глобуса, где мы топтались на ветру, выдувающим соль из резных солонок, и подмерзшая земля, дрожащая под копытами вороного, восставшего, невидимого отсюда коня, – все это была в тот миг наша жизнь, наша единственная, цельная, полная и замкнутая, реальная, осязаемая жизнь – вот такая и никакая другая. И выход из нее был только один.

– Нет, это не жизнь, – вдруг громко сказала Джуди, прочтя мои мысли, и все в недоумении оглянулись. Нет, она была не права. Это жизнь, жизнь. Это она. Ибо жизнь, как нас учили, есть форма существования белковых молекул, а что сверх того – то суть пустые претензии, узоры на воде, вышивание дымом. Стоит принять этот мудрый взгляд – и сердцу будет не так больно, «а больно – так разве чуть-чуть», как писал поэт. Вот только поменьше бы мечтать, ведь жизнь жестока к мечтателям. Ну чем провинилась я? Впрочем, не обо мне речь. Чем провинилась Джуди, простудившаяся на холме города Р. И через две недели умершая от воспаления легких, так и не родив нам Пушкина, так и не встретив ни одного больного животного, так и пропав ни за грош? Да, она, сказать по правде, померла как собака – в чужой стране, среди чужих людей, которым она – чего уж там – была только обузой; вспомнишь о ней иногда и думаешь: кто такая была? чего хотела и как ее в конце концов звали? И что думала она об этих странных людях, окружавших ее, прятавших, кричавших, пугавшихся и вравших, – белых, как личинки жуков, как опарыши, как сырое тесто, людях, то быстро-быстро принимавшихся что-то говорить, махая руками, то стоявших у окна в слезах, как будто это именно они заблудились в жизненной чаше? А тот же дядя Женья – чем провинился он, растерзанный на основные белковые молекулы в чужом краю, у водопада, – палка в руке, недоодеженный банан во рту, боль и недоумение в выпуклых дипломатических глазах? И право же, я, чувствуя в нем своего романтического собрата, не осужу его, как не осужу ни Ольгу Христофоровну с ее еженощными девическими снами, где сабли, и дым, и кони яблочной масти, ни Василия Парамоновича, рожденного ползать, но вздохавшего летавшего, как дитя, при любой возможности, ни Светлану, простую московскую девушку с аппетитами падишаха.

Тут дрогнул куст боярышника, и невидимый Перхушков, откашлявшись, заговорил из куста:

– О черт. Mea culpa. Зашибёлся с вами. Ведь не предусмотрели возможные валютные операции!

– Какие валютные операции? – ужаснулся Ахмед Хасянович, озираясь безумными и прекрасными козьими глазами. Светлана взглянула на Ахмеда Хасяновича, полюбила его до гроба и прильнула к его груди.

– Какие-какие, – закричало из куста, – запрещенные, вот какие! Вы соображаете, что нас ждет? Высоко сижу, далеко гляжу, не смыкаю очей; вижу, вижу: идут товарищи побратимы деревнями и селами, несут товарищи побратимы тулумбасскую валюту; блеск ее нестерпим, число ее не учтено; скупают по деревням и селам молоко и капусту, галоши и карамель, подрывают допустимое, нарушают разрешенное. Сейчас вступят товарищи тулумбасы в город Р., вверенный попечению моему: рухнут столбы и затрещит кровля, зашатаются стены и разверзнется земля, черным дымом задымятся сберкассы и небесный огонь пожрет жилконторы и отделы государственного страхования, если хоть мельчайшая валютная единица коснется десницы хоть ничтожнейшего из наших соотечественников. Страх, петля и яма! – крикнул куст.

И, словно отвечая его речам, внизу, под холмом, пропела труба: то Ольга Христофоровна объявляла сбор всех частей, которых, впрочем, не было.

– От незадача... – прошептал Василий Парамонович. – А может, и обойдется? Из центра вроде сообщали: ихняя валюта – ракушки на бечевках. Махонькие такие, желтые в крапинку. На детский срам похожие. Было указание.

– Может, и обойдется, – успокоился куст. – А ответственность все равно на Ахмеде Хасяновиче.

– Идут! – крикнул Ахмед Хасянович.

Тулумбасы шли и шли нескончаемым потоком, ломая кусты и подминая деревья.

– Тыщ пять, – прикинул Василий Парамонович и выразился по-фронтовому некрасиво.

– Ну чисто татары, – пригорюнилась Антонина Сергеевна совсем по-старинному, на что Ахмед Хасянович отвечал: «Однако я вас попрошу!»

– Отчего они вооружены? – закричал зоркий Перхушков. – Сейчас кое-кого испепелю с занесением в учетную карточку!

– Вот так он всегда, – покрутила головой Антонина Сергеевна. – Страшает, а в сущности, добрая душа. Живность тоже любит. У него дома и цыплятки, и утятки, и индюшатики. Всех и в лицо знает, и по именам. Сам их кормит, сам и кушает. И всегда ведь запишет, кого съел: Пеструшку, или Кокошу, или Белохвостика, и фото в альбом наклеит. Как с детьми, честное слово.

Солнце прорвало тучи и блеснуло на ружейных стволах подступавшей толпы.

– Да ведь это наши! Солдатики! – засмеялся радостно Василий Парамонович. – Вовремя поспели! Хлебу-соли отбой! Это же наши идут! Вон и танки показались! Господи, радость-то какая!

И точно, это были наши. Двигались стройно, красиво, оставляя за собой ровную, как шоссе, просеку. Двигались пешком, и на мотоциклах, и на газиках, и на танках, и на «Волгах», черных и молочных, и на одном «Мерседесе», замаскированном под избушку путевого обходчика.

Избушка повернулась к лесу задом, к нам передом, и из лакированной двери, сияя нестерпимой мужской красотой, вышел Змеев.

Светлана, увидев его, даже закричала.

– Хей-хо! – по-иностранному приветствовал наше начальство полковник Змеев. – Здравия желаю. Сколько прекрасных разноцветных женщин и нарядных гражданских лиц! Как чудно светит солнце и бодрит морозный ветерок! Как символичны щедрые дары нашей богатой земли: хлеб, а также соль. Но и мы не курами клёваны: позвольте отблагодарить вас за внимание и гостеприимство и преподнести вам скромные дары, сработанные или реквизированные нашими ведомственными умельцами в часы редкого досуга. Амангельдыев! Подай скромные дары!

Амангельдыев, солдат небольшого роста, выразивший на лице постоянную готовность либо к испугу, либо к немедленному физическому наслаждению, подал ящик со скромными дарами и расстелил на жухлой траве скатерть с кистями, которая как-то сразу и густо покрылась бутылками с коньяком и холодными рыбными закусками.

– Ну, с прибытием! – чокнулся с гостями Василий Парамонович. – Слава богу. Вовремя поспели. Мы уж волновались. Вон авиация-то: не подвела, с утра шастает. Шестой океан! Понимать надо!

– Голубой простор, – согласился Ахмед Хасянович, ревниво поглядывая на полковника, трижды обвитого Светланой. – Небесные орлы.

– Туда, где танк не проползет, туда домчит стальная птица, – радовался Василий Парамонович.

– Не совсем так, – улыбнулся полковник Змеев. – Мы сейчас с помощью современной техники проползем туда, куда нашим дедам и не снилось. Устарела песенка.

– Огурчиков! Огурчиков берите! Наваливайтесь! – суетилась Антонина Сергеевна, угощая гостей их же добром.

– Вечно женственное, – одобрил Змеев суету Антонины Сергеевны и еще крепче был стиснут Светланой.

Ленечка поглядывал на Амангельдыева, который, как представитель нацменьшинства и к тому же простой, подчиненный человек, сразу стал ему необычайно дорог.

Закусив, полковник одарил присутствующих. Ленечке вручили отрез зеленой сирийской парчи размером два сорок на семьдесят, который Ленечка тут же передал Амангельдыеву на портянки (что вызвало, подобно крику в горах, лавину событий: благодарные родственники Амангельдыева два года ежемесячно посылали Ленечкиной семье урюк, точильные камни, ложное мумиё и синий изюм, а так как Ленечка к тому времени уже исчез, то его ошарашенная семья, задыхаясь под камнепадом подарков и не понимая, чем она обязана неведомым дарителям, тщетно пыталась остановить не имеющее обратного адреса изобилие. Затем нагрянули трое двоюродных братьев Амангельдыевых, желавших снять квартиру, продать дыни, купить ковры и поступить в институт на прокурора; встреченные, по их ощущению, неласково, они подожгли кооперативный гараж, разнесли в клочья детскую песочницу и согнули в дугу молодые, недавно высаженные пионерами липки; взяли их, недооценивших оперативность и старые связи тети Зины, в кафе «Охотничье», в момент, когда они выменивали чемодан бирюзы на сертификаты с желтой полосой у некоего Гохта, за которым милиция давно охотилась, но это все между прочим). Джуди получила вяленого омуля, Светлана – авторучку на гранитном постаменте, а я – календарь памятных дат Вооруженных Сил Варшавского Договора.

Тут из города вновь раздался глас трубы и затем крик Ольги Христофоровны в громкоговоритель:

– Всем сложить оружие! Считаю до трех миллионов восьмиста шестидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти одного! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь!..

– Время есть, – сказал Змеев. – Еще по рюмке – и стреляем.

– Застрелите ее, родные, она песни поет, – пожаловался Василий Парамонович.

Действительно, там, далеко внизу, Ольга Христофоровна, досчитав до девяноста девяти, прервала счет и запела:

– Как дело измены, как совесть тира-а-а-на
Осенняя ночка! темна!
Темнее той ночи встает из тума-а-ана
Видением мрачным! тюрьма!

– Это ничего, это она про Ватикан, – прислушался Перхушков. – Это можно.

– Не надо стрелять, ее просто поймать нужно, – пожалела и Антонина Сергеевна. – Она неплохая.

– Как же не стрелять, когда она вон – как на ладони, – поразился Змеев. – Амангельдыев, подай ружье.

Полковник вскинул ружье и выстрелил. Ольга Христофоровна упала с коня.

– Вот и не поет, – пояснил полковник. – Давайте еще выпьем. Огурчики хороши.

– Ну что же вы делаете? – закричал Ленечка. – Что же вы в людей стреляете?

Но его никто не слушал.

– Стрелять – это красиво. Это волнует, – рассказывал Змеев разгоряченным товарищам. – Ведь что мы в жизни ценим, – из удовольствий, я имею в виду? Мы ценим в огурце – хруст, в поцелуе – чмок, а в выстреле – громкий, ясный бабах. Сейчас лесами сюда шли,

вдруг откуда ни возьмись – негров куча. Вот вроде этой гражданочки, – показал он на Джуди. – Все белой краской раскрашены, в носу перья, в ушах перья, даже, простите, при дамах не скажу где, так там тоже перья. Отличная боевая цель, игрушечка. Очень хорошо постреляли.

– Кто-нибудь живой остался? – спросил Ахмед Хасянович.

– Никак нет, гарантирую – никого. Все чисто.

– Ну и ладно. Убираем дирижабли. Отбой, – вздохнул Ахмед Хасянович.

– Пусть повисят! – закричал захмелевший Василий Парамонович. – Ведь красота-то какая, а? Как все равно голуби серебряные. Помню, мальчонкой я голубей гонял. Рукой взмахнешь, а они – фрррр! – и полетели! И так трепещут, трепещут, трепещут! Эх!

– Ну, по последней – и на машине кататься, – предложил полковник. – Как, молодежь? Грибов поищем!

– Едем, едем, – просила Светлана, любуясь полковником. – Хочу грибов, грибов!

– Амангельдыев, па-а-а гри-бббы!!!

Трудно было сказать в хмелю и суматохе, кто куда сел, лег, встал и кто на ком повис, но мы, сплетясь в живой клубок, уже неслись в «Мерседесе» по кочкам и корням, и сосны проносились мимо, сливаясь в плотный забор, и лесная малина хлестала по стеклам, и пищала Джуди, отпихивая толстый живот заснувшего Василия Парамоновича, и бляела Антонина Сергеевна, и Спиридонов, зажатый где-то под потолком, исполнял чей-то национальный гимн, и никто не делил нас на чистых и нечистых, и откуда-то взявшийся закат пылал, как зев больного scarлатиной, и рано было выпускать ворона из ковчега, ибо до твердой земли было далеко как никогда.

– Винтовочка ты моя! – щекотал полковник Светлану.

– Женат ли ты? – спрашивала Светлана своего прекрасного возлюбленного.

– Так точно, женат.

– Но это неважно, правда?

– Так точно, неважно.

– Грибов скорей хочу, – просила Светлана.

– Будут грибы. Я тебе такой мухомор покажу! – обещал полковник.

– Ой, пропадет девка! – ныл Спиридонов сквозь гимн, любуясь Светланой. И было на что посмотреть – да не по зубам инвалиду была Светлана, светящаяся от счастья – волосы ее сияли сами по себе, глаза стали лиловыми, как у русалки, пудра облетела и краска отвалилась, и была она так хороша, что Спиридонов тихо матерился и клялся отдать за один ее взгляд полцарства – со всеми его полудворцами, полуконюшнями, полубочками с квасом, со всеми грибами, жемчугами, жостью и парчой, с тестом для куличей и тестом для пряников, изюмом, уздечками, шафраном, рогожей, серпами, боронами, мочалой и яхонтами, с индейскими курами, лазоревыми цветами и сафьяновыми полусапожками. Да только ничего этого у него не было.

Ковчег встал, и Светлана, рука об руку с полковником Змеевым, на цыпочках, пошла в лес.

– Наймусь в матросы – увезу тебя в Бомбей! – как дурак крикнул ей вслед Спиридонов. И сам покраснел.

– Были когда-то и мы рысаками, – вздохнул проснувшийся Василий Парамонович. – А ты чего здесь делаешь? – вдруг накинулся он на Джуди. – Чего она здесь делает?

– Я... зверей... зверей лечить... – лепетала Джуди.

– Зверей она лечить! Ты нас вылечи, ну-т-ка! – бушевал Василий Парамонович, неизвестно с чего вдруг озлобившийся. – Зверей и дурак вылечит! Я с Агафоновым мыло варил, с Кузнецовым мыло варил, я во как лез, сколько добра людям переделал – другого бы стош-

нило! Как цемент – к Василию Парамоновичу, как штукатурка – к Василию Парамоновичу, а как продвигать – так других! Это ж понимать надо, а не зверей! Ходят и ходят, ходят и ходят!

– Он добрый, очень добрый, – объясняла Антонина Сергеевна. – Это погода так действует, а он очень добрый. У него дома канареек десять штук, так он с утра им тюр-люр-лю сразу, а они уж знают, чирикают. Они добро чувствуют. Ну где ж наши-то?

Из лесу, одергивая китель, вышел полковник Змеев.

– Порядок. Поехали ужинать.

– А где Светлана?

– Убил нечаянно, – засмеялся полковник. – Обнимал-обнимал, ну и... раздавил немножко. Знаете, как бывает. Ничего, потом я команду подошлю, зароят. Там возни-то немного. Дело военное. Ну, поехали. Амангельдыев!

Странно теперь, по прошествии пятнадцати лет, думать о том, что никого из нас, тогдашних, уже не осталось – ни Светланы, умершей, хочется думать, от счастья; ни Джуди – теперь вот и могилки ее больше нет, а на том месте дорога; ни Ленечки, помутившегося в рассудке после Джудиной смерти и бежавшего в леса на четвереньках, – говорят, правда, что он жив и какие-то напуганные дети видели его у ручья лакающим воду, и какие-то инженеры, любители загадочного, организовали кружок по поимке «дикого среднерусского человека», как они его научно называют, и каждое лето с веревками, сетями и крючьями устраивают засады и раскладывают приманки – кексы, ватрушки, булочки с марципаном, того не понимая, что Ленечка, человек возвышенный и поэтический, клюет только на духовное; нет Спиридонова, тихо скончавшегося естественной смертью в почтенном возрасте и изобретшего напоследок много-много интересного: и говорящий чайник, и автоматические тапочки, и портсигар с будильником, – никого больше нет, и не знаешь, жалеть ли об этом, сокрушаться ли, или благословить время, забравшее их, непригодившихся, ни на что не понадобившихся, обратно в свой густой непрозрачный поток.

Что ж, они хоть погрузились в него нетронутые, целиком, а вот дядю Женю собирали по клочкам, по фасциям, по астрагалам, волоскам и пучкам, причем один глаз так и не нашли, и в гробу он лежал с черной бархатной повязкой на лице, словно Моше Даян или Нельсон, в новом полосатом костюме, взятом в долг у посольского повара, которому, кстати, все обещали, обещали, да так и не выплатили компенсацию, что и толкнуло его на подделку накладных на маринованные плоды гуайявы. А ведь известно: лиха беда – начало; повар увлекся, головка закружилась, и хотя он каждый день обещал себе перестать, но бес был сильнее, как-то сам собою образовался «Роллс-Ройс», потом второй, третий, четвертый, – потом, как водится, пошло увлечение искусством, и вот уже повар до тонкостей стал разбираться в течениях современного дорогостоящего авангарда, вот ему уже не нравится политика, не устраивает посол и кое-кто из посольских секретарей, – осторожно, повар! – дальше связь с местной мафией, рэкет и наркобизнес, тайный контроль над сетью банков и борделей, шашни с военными и планы обширного государственного переворота.

Так что к тому моменту, когда повар, разоблаченный, вновь обрел брусничные перелески и кучевые тучки родины, он успел до такой степени осложнить международную обстановку, так взвинтить цены на природные ресурсы и внести такую сумятицу в торговлю предметами искусства, что вряд ли что-то удастся поправить до конца текущего тысячелетия. Нефтяной бум – тоже его рук дело, говорил повар, навещая тетю Зину на майские и ноябрьские, уже совсем опустившийся, небритый, в ватнике; тетя Зина постилала на кухонный пол газету, чтобы с повара не натекло, пока он выпьет рюмку-другую «ерофеича»; денег за костюм с вас не прошу, – говорил повар, – вдове ваше дело понимаю, – но прошу только уважения к заслугам, потому что нефтяной бум – это я; а гуайяву эту я в рот не брал отродясь, и нечего на меня всяких собак вешать, а только почет и уважение, а костюм не надо, а что у меня голова быстро варит, так это понимать надо, а не руки выкручивать, – в другом

государстве я бы во как пригодился, сразу в президенты и всё; сказали бы: Михаил Иванович, иди к нам в президенты, и будет тебе почет и уважение, а костюм, барахло это, и не надо совсем, в гробу я видал костюмы ваши... А они у меня все вот где были, – говорил повар, показывая кулак, – вот где все сидели, а надо будет – и еще посидят: и короли эти все, и президенты, и генералы-адмиралы, и шейхи всякие; у меня, если хочешь знать, уже Нородом Сианук на крючке был, я ему звоню по вертушке: ну как, Нородом, все чирикаешь? – Чирикаю, Михаил Иванович! – Ну чирикай, чирикай... – А что, что такое, Михаил Иванович?.. – Ничего, говорю, проверка слуха... Чирикай дальше, только не зарывайся... А то японский император звонит по вертушке: я тут, говорит, Михаил Иванович, сырую рыбу есть сел, так без тебя никак, прилетай, составь компанию; ну вот, говорю, с приветом, а то я рыбы вашей не ел, – нет, говорит, хи-хи-хи, такой не ел, такую только я ем... А то: гуайява-гуайява, – ругался повар, теснимый тетей Зиной к двери, – а ты меня не трожь! Ты, говорю, за рукавто меня не хватай! – и, хапнув рубль, а когда и три, шумно вваливался в лифт, где его рвало звездчатым, недавно съеденным винегретом.

Тетя Зина, отплавав положенное и отхोдив нужное время в трауре, давно, конечно, успокоилась и, поскольку человек слаб и тщеславен, нашла удовлетворение в том, чтобы числиться общественным консультантом по поимке дикого среднерусского человека, – она с гордостью подчеркивала, что он ей приходится близким родственником, и соседи завидовали и даже пытались строить козни, отрицая родство, но, конечно, были посрамлены. «Если бы Женя дожил, как бы он гордился», – повторяла тетя Зина, блестя глазами как молодая.

Каждый год, осенью, в любую погоду я захожу за ней; она поправляет кружевной шарф на волосах, берет меня под руку, и мы идем – не спеша, помаленьку, – к Пушкину, чтобы положить цветы к подножию. «Вот еще б немножко поднатужились – и родился бы», – шепчет тетя Зина с любовью, засматривая снизу в его опущенное, слепое, позеленевшее лицо, до ушей загаженное голубыми мира, в его печальный подбородок, навек примерзший к негреющему, занесенному московскими метелями, металлическому фуляру, словно ожидая, что он, расслышав ее сквозь холод и мрак нового своего, командорского обличья, поднимет голову, выпростает из-за пазухи руку и благословит всех чохом – ближних и дальних, ползающих и летающих, усопших и нерожденных, нежных и ороговевших, двустворчатых и головоногих, поющих в рощах и свернувшихся под корою, жужжащих в цветах и толкущихся в столбе света, пропавших среди пиров, в житейском море и в мрачных пропастях земли.

– «И гордый внук славян и ныне дикий...» – торжественно шепчет тетя Зина. – Кто там дальше-то?

– Не помню, – говорю я. – Пойдемте, тетя Зина, пока милиция нас не разогнала.

И правда, дальше я уже ни слова не помню.

Охота на мамонта

Красивое имя – Зоя, правда? Будто пчелы прожужжали. И сама красива: хороший рост и все такое прочее. Подробности? Пожалуйста, подробности: ноги хорошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза – все хорошее. Шатенка. Почему не блондинка? Потому что не всем в жизни счастье.

Когда Зоя познакомилась с Владимиром, тот был просто потрясен. Ну, или, во всяком случае, приятно удивлен.

– О! – сказал Владимир.

Вот так он сказал. И захотел видетсья с Зоей часто-часто. Но не постоянно. И это ее огорчало.

В ее однокомнатной квартирке он из своих вещей держал только зубную щетку – вещь, безусловно, интимную, но уж не настолько, чтобы накрепко привязать мужчину к домашнему очагу. Зое хотелось, чтобы Владимировы рубашки, кальсоны, носки, скажем, прижились у нее дома, сроднились с бельевым шкафом, валялись, может быть, на стуле; чтобы подхватить какой-нибудь там свитерок – и замочить! в «Лотос» его! Потом сушить в расправленном виде.

Так ведь нет, следов не оставлял; всешеньки-все держал в своей коммуналке. Даже бритву, и ту! Хотя что он там ею брил, бородатый? У него было две бороды: одна густая, потемнее, а посредине ее как будто другая, поменьше, рыжеватая, узким пучочком росла на подбородке. Феномен! Когда он ел или смеялся, – эта вторая борода так и прыгала. Роста Владимир был небольшого, на полголовы ниже Зои, вида немного дикого, волосатый. И очень быстро двигался.

Владимир был инженер.

– Вы инженер? – спросила Зоя нежно и рассеянно при первом знакомстве, когда они сидели в ресторане, и она, раскрывая рот на миллиметр, дегустировала профитроли в шоколадном соусе, делая вид, что ей по каким-то интеллектуальным причинам не очень вкусно.

– Точ-ч-чно, – сказал он, глядя на ее подбородок.

– Вы в НИИ?..

– Точ-ч-чно.

– ...или на производстве?

– Точ-ч-чно.

Поди пойми его, когда он так на нее засмотрелся. И выпил немножко.

Инженер – тоже хорошо. Правда, лучше бы он был хирургом. Зоя служила в больнице, в справочном, надевала белый халат и тем самым слегка принадлежала к этому удивительному медицинскому миру, белому, крахмальному, где шприцы и шпатели, каталки и автоклавы, и стопки грубого чистого белья в черных печатях, и розы, и слезы, и шоколадные конфеты, и стремительно увозимый по нескончаемым коридорам синий труп, за которым, едва поспевая, летит маленький огорченный ангел, крепко прижав к своей птичьей грудке исстрадавшуюся, освобожденную, спеленатую как куклу душу.

А королем в этом мире хирург, и нельзя на него смотреть без трепета, когда он, облаченный с помощью камергеров в просторную мантию и зеленую корону с тесемками, стоит, величественно подняв свои бесценные руки, готовый к священной королевской миссии: свершить высший суд, обрушиться и отсечь, покарать и спасти, и сияющим мечом даровать жизнь... Ну как же не король? И Зое очень-очень хотелось пасть в кровавые хирурговы объятия. Но инженер – тоже хорошо.

Очень они тогда приятно провели время в ресторане, познакомившись, и Владимир, еще не знавший, на что он может с Зоей рассчитывать, был щедр. Это уж после он стал эко-

номить, деловито просматривал меню, брал себе только одно мясное блюдо, недорогое, и в ресторане не задерживался. Напрасно Зоя сидела с томным видом, сделав небрежное лицо, как бы слегка насмешливое, отчасти задумчивое – предполагалось, что по лицу пробегают мимолетные оттенки ее сложной душевной жизни – вроде изысканной печали или какого-то утонченного воспоминания; сидела, глядя якобы вдаль, изящно поставив локти на стол, и, оттопырив нижнюю губу, пускала к расписным сводам красивые табачные колечки. Шла игра в фею. Но Владимир плохо подыгрывал: ел с интересом, без всякой грусти, пил залпом, курил не томно: быстро, жадно навоняет дымом и уже давит окурок, крутя в пепельнице желтым пальцем. Счет близко подносил к глазам, страшно изумлялся и тут же находил ошибку. А икру никогда не заказывал: ее, мол, едят только принцессы да воры. Зоя обижалась: разве она не была принцессой, хотя и неузнанной? А потом вообще перестали ходить в ресторан, сидели дома. Или она одна сидела. Скучно было.

Летом ей было охота съездить на Кавказ. Там шум и вино, и ночное, с визгом, купание, и масса интересных мужчин, и, глядя на Зою, они говорили бы: «О!» – и сверкали зубами.

Вместо этого Владимир приволок в квартиру байдарку, привел двух товарищей, таких же, как он, – в пахучих клетчатых ковбойках, и они ползали на четвереньках, складывая и раскладывая, ставя какие-то заплатки, и совали по частям гладкое противное байдаркино тело в таз с водой, вскрикивая: «Течет! Не течет!», а Зоя сидела на тахте, ревнуя, недовольная теснотой, и ей приходилось все время приподнимать ноги, чтобы Владимир мог переползти с места на место.

Потом ей пришлось последовать за ним и его друзьями в этот ужасный поход, на север, по каким-то озерам, на поиски каких-то якобы изумительных островов, и она промерзла и промокла, а от Владимира пахло псиной. Неслись, быстро гребя, подсакивая на волнах, по сумрачному, северному, вздувшемуся свинцовой темнотой озеру, Зоя сидела прямо на полу ненавистной байдарки, вытянув ноги, сильно укоротившиеся без каблуков, такие жалкие и худые в спортивных брюках, и чувствовала, что нос красный, и волосы свалялись, и враждебные брызги воды размазывают тушь на ресницах, а впереди были еще две недели мучений в отсыревшей палатке, на необитаемой скале, поросшей сосной и брусникой, среди чужих, оскорбительно бодрых людей, среди их радостных криков за обедом, сваренным из горохового концентрата.

И была Зоина очередь мыть в глубоком ледяном озере жирные алюминиевые миски, которые все равно оставались грязными. И голова у нее была грязная и зудела под косынкой.

Все инженеры были со своими женщинами, никто не глядел на Зою особенным взглядом, не говорил: «О!», и она чувствовала себя бесполым брючным товарищем, и противны ей были смех у костра, брэнчание на гитаре, радостные вопли при виде пойманной щуки. Она лежала в палатке совершенно несчастная, ненавидела двухбородого Владимира и хотела скорей уже выйти за него замуж. Тогда можно будет с полным правом законной жены не уродоваться на так называемой природе, а, оставшись дома, сидеть в легком и изящном халатике (всюду воланы, производство ГДР) на диване, нога на ногу, чтобы перед глазами – «стенка», и цветной телевизор (пусть Владимир купит), розовый свет от югославского торшера, и что-нибудь легонькое попить, и что-нибудь хорошее покуривать (пусть подарят родственники больных), ждать возвращения Владимира из байдарочного похода и встретить его чуть недовольно и с подозрением: что ты там, интересно, без меня делал? с кем это вы ездили? рыбы привез? – и после, так и быть, простить ему двухнедельное отсутствие. А в это его отсутствие, может быть, будет звонить знакомый хирург с заигрываниями, и Зоя, лениво обняв телефон и напустив на лицо выражение, будет тянуть: «Ну не знаю... Посмотрим... Вы серьезно так думаете?...» Или позвонит подруге: «Ну а ты что?.. А он что?.. Ну а ты?..» Ах, город! Блеск, и вечер, и мокрый асфальт, и красные неоновые огни в лужах под каблуками...

А здесь тяжело бьются о скалу волны, глухо шумит ветер в вершинах деревьев, костер пляшет свою вечную пляску, и ночь глядит в спину, и пищат по палаткам чумазные некрасивые женщины инженеров. Тоска!

Владимир был в упоении, вставал рано, пока озеро было тихим и светлым, спускался по крутому склону, хватаясь за сосны и пачкая ладони в смоле, стоял, широко расставив ноги, на гранитной плите, уходящей в солнечную прозрачную воду, мылся, фыркал, и кричал, и оглядывался счастливыми глазами на Зою, заспанную, ненакрашенную, угрюмо стоявшую с ковшиком в руках: «Ну? Ты когда-нибудь слышала такую тишину? Ты послушай, как тихо! А воздух? Благодать!» Ох какой он был противный! Замуж, скорее за него замуж!

Осенью Зоя купила Владимиру тапки. Клетчатые, уютные, они ждали его в прихожей, разинув рты: сунь ножку, Вова! Здесь ты дома, здесь ты у тихой пристани! Оставайся с нами! Куда ты все убегаешь, дурашка?

Свою фотографию – каштановые кудри, брови коромыслом, взгляд строгий – Зоя сунула Владимиру в бумажник: полезет за проездным или расплатиться, увидит ее, такую красивую, и вскрикнет: ах, что же это я не женюсь? Ну, как другие обгонят? Вечерами, ожидая, ставила на подоконник розовую круглоногую лампу – семейный маяк во мраке. Чтобы крепили узы, чтоб на сердце теплело: темен терем, темна ночь, но горит, горит огонечек – то звезда души его не спит, – может, банки закатывает, может, постирушку какую затеяла.

Мягкими были подушки, мягкими – тефтельки, дважды провернутые через мясорубку, все так и манило, и Зоя жужжала пчелой: поторапливайся, дружок! Поторапливайся, дрянь такая!

Хотелось попасть замуж, пока не стукнет двадцать пять – потом уже все, молодость кончится, тебя выведут из зала, на твое место набегут другие: быстрые, кудрявые!

Утром пили кофе. Владимир читал журнал «Катера и яхты», жевал, крошки застревали в обеих бородах; Зоя враждебно молчала, глядела ему в лоб, посылая телепатические флюиды: женись, женись, женись, женись, женись! Вечером он опять чего-то читал, а Зоя глядела в окно и ждала, когда же спать. Владимир читал беспокойно, возбуждался, чесал в голове, дрыгал ногой, хохотал и вскрикивал: «Нет, ты послушай!» и, перебивая себя смехом, тыкая в Зою пальцем, прочитывал то, что ему так понравилось. Зоя кисло улыбалась или глядела холодно и пристально, никак не отзываясь, и он смущенно крутил головой, сникал и бормотал: «Ну дает мужик...», из гордости нарочно удерживая на лице неуверенную улыбку.

Радость портить она ему умела.

Нет, ну в самом деле: вот он тут живет на всем готовеньком. Все подметено, прибрано, холодильник вовремя размораживается. Щетка у него тут зубная. Домашняя обувь. Кормят его тут, поят. Надо что в чистку – пожалуйста! Ради бога! Так что ж ты, так тебя и этак, не женишься, только настроение людям портишь?! Ведь знать бы точно, что не собираешься, тогда и до свидания! Куку! Привет тете! Да как узнать его намерения? На прямой вопрос Зоя все-таки не отваживалась. Многовековой опыт остерегал. Один неудачный выстрел – и все, пиши пропало; добыча бежит прочь со всех ног, только пыль стоит и пятки сверкают. Нет, заманивать надо.

А он, гад, прижился. Чувствовал себя как дома. Совсем ручной стал. Перевез из коммуналки свои рубашки, пиджаки. Носки его теперь всюду валялись. Придет – и в тапки. Руки потирает: «А что у нас сегодня на ужин?» У нас – заметьте. Вот так он разговаривал.

– Мясо, – сквозь зубы отвечала Зоя.

– Мясо? Отлич-ч-чно! Отлич-ч-чно! А чем это мы так недовольны?

Или размечтается:

– Хочешь, машину купим? Ездить будем – куда душе угодно.

Просто издевательство! Как будто он никуда от Зои не собирался! А если правда не собирался? Тогда – давай женись. Любить без гарантий Зоя не хотела.

Зоя ставила западни: выроет яму, прикроет ветвями и подталкивает, подталкивает... Вдруг, уже одетая и накрашенная, отказывалась идти в гости, ложилась на диван и скорбно смотрела в потолок. Что такое? Она не может... Почему? Потому... Нет, в чем дело? Заболела? Что случилось? А то, что она не может, не пойдет, ей стыдно выставлять себя на всеобщее посмешище, все будут пальцами показывать: в каком это, интересно, качестве она приперлась? Все с женами... Глупости, говорил Владимир, там жен в лучшем случае одна треть, да и те – чужие. И ведь до сих пор Зоя ходила – и ничего? До сих пор ходила, а теперь вот не может, у нее тонкая душевная организация, она, как роза, вянет от плохого обращения.

– Интересно, когда это я с тобой плохо обращался?!

И так далее, и так далее, и все в сторону от замаскированной ямы.

Владимир повел Зою к какому-то художнику; говорят, очень интересный. Зоя представила себе бомонд, группки искусствоведов: дамы – старые гримзы, все в бирюзе, а шеи – как у индюков; мужчины – элегантные, в нагрудных кармашках – цветные платочки, хорошо пахнут. Какой-нибудь благородный старик с моноклем протискивается. Художник – в бархатной блузе, бледный, в руке – палитра. Тут входит Зоя. Все – «О!» Художник бледнеет. «Вы должны мне позировать». Благородный старик смотрит тоскливым дворянским взором: его годы ушли, Зоино благоухание уже не для него. Зоин портрет – ню – везут в Москву. Выставка в Манеже. Милиция сдерживает напор толпы. Вернисаж за границей. Портрет защищен бронированным стеклом. Впускают по двое. Воют сирены. Всем прижаться вправо! Входит президент. Он потрясен. Где оригинал? Кто эта девушка?..

– Здесь ногу не сломай, – сказал Владимир. Они спустились в подвал. С горячих труб свисала пакля. В мастерской тепло. Художник – такой сморчок в рваной дерюжке – тащил тяжелые картины. Нарисовано странное: например, большое яйцо, а из него выходит много маленьких человечков, среди облаков парит Мао Цзэдун в кирзовых сапогах и расписном халате, в руке – чайник. Все вместе называется – «Конкорданс». Или вот – яблоко, а из него выползает червяк в очках и с портфелем. Или: дикая скалистая местность, хвощи, из хвощей выходит мамонт в тапочках. Кто-то маленький прицелился в него из лука. А сбоку видна пещерка: там электрическая лампочка на шнуре, телевизор светится, горит огонек газовой плиты. Даже скороварка тщательно нарисована, и на столике – букет хвощей. Называется – «Охота на мамонта». Интересно. «Ну, что, смело, – говорил Владимир, – смело, смело... А идея?» – «Идея? – радостно удивлялся художник. – Обижаете! Что ж я, передвижник какой? Идея! От идей, брат, надо бежать во все лопатки и назад не оглядываться!» – «Нет, ну все-таки, все-таки...» Они заспорили, замахали руками, художник расставлял на низком столике шаткие керамические стаканчики, расчищал локтем несвежее пространство. Пили невкусное, заедали твердокаменными кусочками чего-то позавчерашнего. Хозяин светлым, как бы невидящим взглядом профессионала скользил по Зоинной поверхности. Зоину душу взгляд не зацеплял, будто ее вовсе и не было. Владимир раскраснелся, бороды его растрепались, оба они вскрикивали, произносили слова «абсурд» и другие, похожие; один ссылался на Джотто, другой – на Моисеенко, о Зое забыли. Голова у нее разболелась, в ушах било: дум, дум, дум. За окном во тьме собирался дождь, пыльная лампочка под потолком плыла сквозь слоистый синеватый дым, на грубых белых полках толпились кувшины с крымскими колючками, давно поломанными, покрытыми паутиной. Зои не было ни здесь и нигде, ее вообще не было. Всего остального мира тоже не было. Только дым и шум: дум, дум, дум, дум.

На пути домой Владимир обнял Зою за плечи.

– Интереснейший мужик, хоть и псих! Ты слышала его рассуждения?! Прелесть, а?!

Зоя в злобе молчала. Шел дождь.

– Ты у меня молодец! – шумел Владимир. – Сейчас домой – и чайку крепкого, да?

Подлец Владимир. Нечестные, подлые приемы. Есть же правила охоты: мамонт отходит на некоторое расстояние, я прицеливаюсь, пускаю стрелу: вз-з-з-з-з-з-з! – и он готов. И я тащу его тушу домой: вот и мясо на долгую зиму. А этот приходит сам, подходит на близкое расстояние, пасется, щиплет травку, чешет бок о стену, дремлет на солнышке, изображает ручного! Позволяет себя доить! А загон-то открыт, открыт с четырех сторон! Да, боже мой, ведь и загон нет! Ведь уйдет, уйдет же, господи! Изгородь нужна, частокол, веревки, канаты!

Дум, дум, дум. Солнце село. Солнце встало. На окно опустился голубь с окольцованной ногой, строго глянул в Зоины глаза. Вот, вот – пожалуйста! Какого-то голубя – паршивую, сорную птицу – и того кольцуют. Ученые в белых халатах, с честными, образованными лицами, кандидаты наук, берут его, голубчика, за бока – позвольте, батенька, беспокоить, – и голубь понимает, голубь не возражает, безо всяких ко-ко-ко протягивает им свою красную кожаную ногу – прошу, товарищи! Ваше дело правое. Щелк! И летит он себе уже не абы как, не путается с воплями, как хам, под ногами, не шарахается с отвисшей челюстью от грузовиков, нет, – научно облетает он карнизы и балконы, грамотно кушает положенное зерно и крепко помнит, что серые кляксы его помета и те озарены отныне неподкупными лучами науки: Академия знает, в курсе, и – надо будет – спросит.

Она перестала разговаривать с Владимиром, сидела и глядела в окно, часами думая о научном голубе. Поймав на себе печальный взгляд инженера, напрягалась: ну? Где заветные слова? Произноси! Сдаешься?

– Зоинька, что это ты? Я к тебе с любовью, а ты меня как этого... – мямлил двухбродый.

Черты ее окаменели и заострились, и давно уж никто не говорил: «О!» при встрече с ней, да ей это было и не нужно: синий огонь неизбывного горя, горевший в ее душе, заглушил все огни мира. Делать ничего не хотелось, и Владимир сам пылесосил, сам выбивал половичок, сам закатал на зиму баклажанную икру.

Дум, дум, дум – било у Зои в голове, и голубь с огненным обручальным кольцом вставал из мрака, укоризненно нахмутив очи. Зоя ложилась на тахту ровно и прямо, накрывала голову пледом и вытягивала руки по швам. Безграничная Скорбь – так назвали бы ее деревянное изваяние средневековые мастера из этого альбома, который на полке сбоку. Безграничная Скорбь – вот так вот. О, уж они бы изваяли как надо ее душу, ее боль, все складки ее пледа, изваяли бы и приспособили на самую верхотуру головокружительного кружевного собора, на самую маковку, и дали бы фото крупным планом: «Зоя. Деталь. Ранняя готика». Синий огонь нагревал шерстяную пещеру, дышать было нечем. Инженер на цыпочках выходил из комнаты. «Куда-а-а?» – кричала Зоя журавлиным кликом, и женатый голубь ухмылялся. «Я так... руки помыть... ты отдыхай», – испуганно шептал изверг.

«Сначала будто руки ему мыть, потом будто на кухню, а там и входная дверь рядом, – подсказывал голубь на ухо. – Раз – и вышел...»

А ведь верно. Она накинула двухбродому на шею веревочную петлю, легла на тахту, дернула и прислушалась. На том конце шуршало, вздыхало, топоталось. Никогда этот человек ей особенно не нравился. Да нет, чего уж там – он ей всегда был отвратителен. Маленькое, мощное, грузное, быстрое, волосатое, бесчувственное животное.

Оно еще возилось какое-то время – скулило, беспокоилось, пока наконец не затихло – блаженной, густой тишиной великого оледенения.

Спи спокойно, сынок

У Сергеевой тещи в сорок восьмом году сперли каракулеву шубу.

Шуба была, понятно, чудесная – кудрявая, теплая, подкладка трофейная: тканые ландыши по лиловому; век бы из такой шубы не вылезать: ноги в ботики, в руки муфту – и пошла, и пошла! И как сперли – по-хамски, нагло, грубо, просто из-под носа выдернули! Теща – прелестное дитя, бровки выщипаны, каблучки стучат, – поехала на барахолку, взяв с собой Паню, домработницу, – ты, Леночка, ее уже не помнишь. Нет, что-то такое Леночка помнила, – да бог с тобой, ты же пятидесятого года? Ты Клаву путаешь, Клаву, еще гребенка розовая, круглая такая – забыла? Как она все: «Грехи мои тяжки, грехи мои тяжки», боялась, что пригорит. А готовила – дай бог всякому, и меня обучила. Потом еще обувь ей в деревню отдавали, для внуков. Сейчас никто старую обувь не берет, не знаешь, куда девать.

Так вот, с Паней на барахолку. Эта Паня!.. Теща хотела купить еще одну шубку, беличью, на каждый день. Дамочка одна продавала – приличная, заплаканная, носик синенький, вот как сейчас перед глазами... Теща – каракуль Пане на руки, влезла в беличью, повернулась, а дамочки и след простыл, и каракуля нет! Паня, шуба?! Визг, слезы: да хозяйка, да я сама не знаю как, да вот же сейчас в руках держала! Глаза отвели, окаянные! Ну, глаза или не глаза, а не было ли тут сговора? Время послевоенное, глухое, шайки всякие, и кто ее, эту Паню, знает?.. И, конечно, зависть, глухое неодобрение к таким, как теща, Марья Максимовна, – хорошеньким, вертлявым, тепло и богато укутанным. А за что? Можно подумать, что они жили как райские птицы, теща с Павлом Антонычем, – да ничего подобного. Вечное напряжение, тревога, разлуки, ночная работа. Военный медик был Павел Антоныч, борец с чумой, человек пожилой, сложный, скорый на решения, в гневе страшный, в работе честный. Тут предлагалось посмотреть на фотографию Пал Антоныча, каким он был в последние годы жизни, уже обиженный, отставленный, уязвленный классической ситуацией: отшатнувшиеся ученики, хапнув самое ценное из трудов учителя, переступают через него и несут слегка замаранное знамя дальше, ни единой строчечкой, ни сносочкой не почтив имя основоположника.

Сергей возводил очи горе и различал высоко на стене, в шелковой теплой тени, очки, усы и ордена. Леночка, папу-то помнишь? Конечно. Марья Максимовна шла на кухню за булочками, Сергей тянулся погладить Леночкину руку, та, суя ее как предмет посторонний, объясняла, что вообще-то отца почти не помнит, это уж она так, для мамы... Помнит осевший, ноздреватый мартовский снег, лаковый блеск ЗИЛа, и как пахло внутри, и оловянные зубы шофера, кепку его... Облако отцовского одеклона, скрип сиденья, сердитый затылок и замелькавшие за окном голые деревья – куда-то поехали... И еще один день – майский, золотой, с резким сладким ветром в форточку, в квартире какой-то разброд, то ли ковры в чистку, то ли зимние вещи в нафталин, все переставлено, бегают. И гневный, ужасный крик Пал Антоныча в коридоре, буханье ногой в пол, он швыряет что-то тяжелое, врывается и, мощный и красный, прет через комнату, топча ногой медвежонка, топча кукольный обед, и майское солнце негодует, трясется и брызжет из стекол его очков. Причина будто бы была пустяковая – собака, что ли, напачкала у входа. На самом-то деле собака – ерунда, предлог, просто жизнь начала поворачиваться к Пал Антонычу не лучшей стороной. И ездить стало уж не на чем.

Теща возвращалась с булочками, со свежим чаем, Леночка клала свою руку на место, как использованную. Прохладновата была Леночка для молодой супруги, улыбалась слишком вежливо, горела вполнакала, и что там скрывалось, какие мысли мелькали за этими акварельными глазами? Бледные щеки, волосы – водорослями вдоль щек, слабые руки, легкие ноги – все завораживало, и хотя Сергей вообще-то любил женщин крепких, ярких, черноро-

вых, как вятская игрушка, но перед водянистой прелестью Леночки устоять не смог. А она обвилась вокруг него, нежаркая, душой зыбкая и недоступная, со слабенькими женскими проблемками: ка-ашель, ту-уфельки велики, сюда гво-оздик вбей, Сережа, – и он вбивал гвоздики, вертел мелкие, как блюдца, туфли, – со Снегурочки все сваливается, – растирал скипидаром узкую Леночкину спину.

Женился со страхом и восторгом, наугад, ничего не понимая, – что Леночка, почему Леночка, ну да там видно будет! Она – нежная девочка, он – защитник, опора, теща – милейшая дама, добродушная, в меру вздорная, преподает в школе домоводство. Учит девочек кроить фартучки, обметывать края какие-то. Теория шитья, основы пожарной безопасности. «Стежок есть переплетение нитки с тканью между двумя проколами иглы». «Пожар есть загорание предметов, не подлежащих загоранию». Уютное, женское дело. И дома – семейный уют, семейный очаг, скромный и солидный простор трехкомнатной квартиры – наследство после сурового Пал Антоныча. Коридор уставлен книгами, в кухне все что-то печется и варится, а за кухней – крошечная комната, закуток, – это раньше так строили, Сереженька, специально для прислуги; здесь и эта жуткая Паня жила, и Клава с розовой гребенкой, а хотите, мы здесь ваш кабинет устроим, мужчине нужен отдельный кабинет. Конечно, ему хотелось! Маленькая, но совершенно своя комната – да что же может быть лучше? Стол – к окну, сюда стул, за спиной – полка с книгами. Летом в распахнутые окна полетит тополиный пух, а птичье пение, а детские голоса... Ручку, Марья Максимовна! Позвольте поцеловать. Ну, вот как все хорошо.

Да она даже представить себе не может, как все замечательно, какое чудо, какой подарок судьбы для него эта комната, эта семья, – для него, детдомовца, мальчика без имени, без отчества, без матери. Все, все придумали ему в детдоме: имя, фамилию, возраст. Детства не было, детство сгорело, разбомбленное на неведомой станции, чьи-то руки вытащили его из огня, бросили на землю, катали, шапкой били по голове, сбивая пламя... Не понимал, что шапкой-то и спасли, черной, вонючей, – шапка отбила память, она снилась в кошмарах, кричала, взрывалась, оглушала, он долго потом заикался, рыдал, закрывал руками голову, когда воспитательницы пытались его одевать. Сколько ему было – три года, четыре? И сейчас, в середине семидесятых годов, у него, взрослого человека, екало сердце, когда проходил мимо магазина, где на полках круглились меховые шары. Останавливался, смотрел, преодолевая себя, напрягал память: кто я? откуда? чей я сын? Ведь была же мама, кто-то меня родил, любил, вез куда-то?

Летом на вытоптаных площадках играл с такими же обожженными, безымянными, вытасканными из-под колес. Брались за руки, становились в две цепи. «Али-Баба!» – «О чем, слуга?» – «Тяни рукава!» – «С какого конца?» – «Слева направо, Сережу сюда!» – и он бежал в серых казенных шароварах из одной цепи в другую, из своей семьи в чужую, чтобы горлом разорвать худые сцепленные руки, и, если это удавалось, присоединялся к тем, чужим, гордясь своей силой и немножко чувствуя себя изменником.

Длинные зимы, голодные глаза, бритые головы, кто-нибудь из взрослых торопливо погладит по голове, пробегая; мышинный запах казенных простынь, тусклый свет. Старшие мальчики били, требовали, чтобы воровал, соблазняли, вертя перед носом куском сырого хлеба – поделимся с тобой, лезь вон в ту форточку, ты тощий, протиснешься. Но кто-то невидимый и неслышный как будто непреклонно качал головой, закрывая глаза: нельзя, не бери. Мать ли то подавала знак из темного, разбитого времени, с той стороны, из-за шапки, бесплотные ли силы оберегали? Кончил школу – выдали характеристику: «морально устойчив, опрятен». Тихо ела его тоска по матери, которой не было нигде. Соображение, что все, в конце концов, произошло от обезьяны, как-то не утешало. Он выдумывал себе матерей, воображал себя сыном любимой учительницы – будто бы у нее потерялся маленький мальчик и она ищет его, спрашивает у всех – не встречался ли? Тощенький такой, шапки боится?

А он – вот он, тут, на первой парте сидит, а она и не знает! Сейчас она всмотрится и крикнет: «Сережа, ты? Что ж ты молчишь?» Он был сыном поварихи – помогал резать хлеб на кухне, посматривал на ее белый колпак и быстрые руки, замирал, ожидая озарения, узнавания; он вглядывался в женщин на улице – напрасно, все бежали мимо.

Теперь же, тайно от Леночки, он хотел быть сыном Марьи Максимовны. А не было ли у нее сына, загоревшегося на далекой, безымянной станции? Загорание предметов, не подлежащих загоранию?.. Закут за кухней, снег за окном, желтый абажур, старые обои с кленовыми листьями, старый дом – вспомнить бы... Как будто бы он тут жил, как будто бы что-то узнаёт?..

Чушь какая, не было у Марьи Максимовны пропавшего мальчика, только шуба у нее и пропала, хорошая, трофейная шуба на шелковой подкладке, затканной лиловыми ландышами. Пал Антоныч, большой человек в многозвездных чинах, снял эту роскошь с крючка в немецком доме – ему сразу понравилось, церемониться не стал. Снял – и в посылку. За наши города и села!

Какая шуба была! Обидно, Сереженька! Вам это, наверное, знакомо – гадкое чувство, что тебя обокрали. И не успела даже повернуться, ахнуть не успела – подменили! Беличью дешевку подсунили, да еще и не новую, как потом выяснилось: расползлась по швам. Да она небось тоже краденая была?! Это вы представляете ситуацию – жена Павла Антоныча обкрадена и сама в ворованной шубе... Что хуже всего: пришлось признаться, что ездила на барахолку: это ведь в тайне от него делалось... Ох, на него было страшно смотреть: какой-то гейзер гнева! Обокрали... Он таких вещей не терпел. Он, военный медик, заслуженный человек, всю жизнь отдал науке, – и людям, конечно, – и вдруг такое. С ним же тогда страшно считались, это уж после на него наговорили, оскорбили, вышвырнули на пенсию, в отставку, его, заслуженного инфекциониста! Забыли все его заслуги, смелость, бесстрашие, принципиальность, забыли, как он в двадцатые—тридцатые годы боролся с чумой – и побеждал, Сереженька! Сам жизнью рисковал ежеминутно и трупов не терпел.

Страшное дело – чума. Сейчас о ней как-то не слышать, ну, там-сям отдельные случаи, – это, кстати, заслуга Пал Антоныча! – а ведь тогда это же шло как эпидемия. Зараженные степи, села, целые районы... Пал Антоныч и его коллеги ставили опыты: кто же разносит чуму? Хорошо, крысы, но какие? Так оказалось, вообразите, что всякие! Домашние, чердачные, корабельные, канализационные, бродячие, полевые. Больше того, все эти с виду невинные зайчики, суслики, даже маленькие мышки... Тушканчики, хорьки, землеройки! Да что там, я ушам своим не поверила, когда узнала, но Павел Антоныч особо подчеркивал: верблюды! Вы понимаете? Никому верить нельзя. Кто бы мог подумать? Да, да, и среди верблюдов чума. А вы представляете, каково это – опыты на верблюде? Он же огромный! А его ловят, заражают, берут у него, зараженного, анализы, причем все сами, своими руками. Держат в загоне, сами кормят, сами навоз вывозят. А он анализы давать не хочет, а он в вас же еще и плюет – чумной-то. И норовит попасть в лицо.

Нет, врачи святые, я всегда говорю. А потом? Ну, потом, убедившись, что заражен, умерщвляют, конечно. Что ж? Он же других перезаразит?

Потом началась война. Пал Антоныча перебросили на другой профиль. Да, работы только прибавилось. Война, война... Да что я вам рассказываю, вы сами все пережили.

Во время войны они и познакомились, теща с Пал Антонычем. Поженились, виделись урывками. Ему нравилось, что она такая молоденькая, живая... Хотел приодеть ее, шубу вот эту прислал... Он и сам был доволен: надень-ка шубу, Машенька... Беспокоился, на лето нафталин доставал. И вот такой удар...

Мягкая, чудесная, понимающая женщина – Марья Максимовна. Станный этот пункт – не может забыть шубу. Все-таки женщина, им это важно. У каждого свои воспоминания. Она ему о шубе, Сергей ей – о шапке. Сочувствовала. Леночка улыбалась обоим, витая

в своих неясных мыслях. Ровный, бесстрастный характер у Леночки, будто не жена ему, а сестра. Мать и сестра – о чем еще мечтать потерявшемуся мальчику?

Сергей прибил полочку в своем закуте, расставил любимые книги. Сюда бы еще раскладушку. Но спать ходил в спальню, к Леночке. Ночью лежал без сна, смотрел в ее тихое личико с розовыми тенями у глаз, удивлялся: кто такая? О чем думает, что ей снится? Спросишь – пожмет плечами, помалкивает. Голоса никогда не повысит, наследит Сергей снегом – не заметит, курит Сергей в спальне – на здоровье... Читает, что под руку подвернется. Камю так Камю, Сергеев-Ценский – тоже хорошо. Какой-то холодок от нее. Дочка усатого, очкастого Павла Антоныча... Странно.

Пал Антоныч... Висит на стене в столовой, в раме, ночные тени ходят по его лицу. Рос дуб и рухнул. Давно рухнул, вот и Леночка его не помнит. А все же он тут – бродит по коридору взад-вперед, поскрипывает половицами, трогает ручку двери. Пальцем проводит по обоям, по кленовым листочкам, по книжным полкам – хорошее наследство оставил дочери. Слушает, не пискнет ли крыса? Домашняя, чердачная, полевая, корабельная, бродячая... Ах ты, зверь, ты, зверина, ты скажи свое имя: ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Я не смерть твоя, я не съем тебя: ведь я зайчика, ведь я серенький... Зайцы – тоже разносчики чумы. Особо опасная инфекция... Прогноз крайне неблагоприятен... В случае подозрения на заболевание чумой посылается экстренное донесение... Больные и все лица, бывшие с ними в контакте, изолируются. Сам-то боялся ли? Все-таки большой человек. В гневе страшен, в работе честен. Зачем вот только с шубой?..

А вдруг Пал Антоныч – Сергеев отец? Вдруг у него, пожилого, была другая жена – еще до Марьи Максимовны? Вынырнуть из небытия, обрести прочную цепь предков – Павел Антонович, Антон Феликсович, Феликс Казимирович... Почему бы и нет? Вариант реальный...

Снял шубу с крючка, вывернул – мехом внутрь, ландышами наружу, зашуршала шелковая бумага. Веребочку! Битте. Коленом наступил, подтянул потуже, затянул узел чистыми медицинскими пальцами. И еще раз. Подергал – не развяжется. Взял, не побрезговал. За развороченные рельсы, за взрыв, за опаленную голову сына, за вспыхнувшую факелом маму, за шапку, выбившую детскую память. Всплывает лицо с закрытыми глазами, кто-то качает головой: нельзя, не бери. Отец, не бери! Через три года сперли на рынке. Как он кричал! Паня, домработница, конечно, была в сговоре. Подумайте сами – чтобы вот так, в мгновение ока... Безусловно, шайка работала. Марья Максимовна бы еще ладно, махнула рукой, но Пал Антоныч по своему характеру просто не мог стерпеть. Паню – под суд! Да, да! Кому вы передали шубу? Кто ваши сообщники? Когда вы вступили в преступный сговор? Сколько вам причиталось за сделку? Паня – баба глупая, темная, несла какую-то ересь, путалась в показаниях, противно было слушать. Короче – засудили. Но шубы так и не нашли. Пропала. Теплая, кудрявая, подкладка скользкая, шелковая...

«Я это уже пятый раз слушаю», – сказал Сергей, сердито укрываясь одеялом. «Ну и что ж? Мама переживает». – «Да, но сколько же можно? Подумаешь, Акакий Акакиевич!» – «Я тебя не понимаю, ты что, ворам сочувствуешь?» – «При чем тут... А он что, не украд?» – «Папа?! Папа был честнейший человек!»

Темная баба – Паня. Сгинула, пропала, исчезла. Засудили. Деревенская тетка, муж погиб на фронте. Розовый гребень. Нет, гребень у Клавды. Ни лица, ни голоса – сплошное белое пятно. Он – Панин сын. Возможно, возможно. Отец погиб, а она бежала с ним болотами, проваливалась, продиралась через леса, побиралась, просила кипятку на станциях, выла. Поезд, взрыв, рельсы винтом, шапкой по лицу, черной шапкой, чтоб отшибло память. Лежишь, вглядываешься во тьму – глубже, глубже, до предела, – нет, там стена. Паня потеряла его на станции. Ее увезли без сознания. Она очнулась – где Сережа? Или Петя, Витя, Егорушка? Кто-то видел, как тушили горевшего мальчика. Она идет, ищет его по городам.

Открывает все двери, стучит во все окна: не видали ли? Темный платок, и глаза ввалились... В прислуги к Пал Антонычу. Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня? Нет, я зайлька, нет, я серенький. «Паня, поедemте со мной, подержите шубу». Погоди, не ездй! «Хозяйка, я сына потеряла, до вашей ли шубы мне?» И чтобы осталась дома. И чтобы еще двадцать пять лет в закуте. Тут Сергей женится на Леночке, приходит в дом, Паня всматривается, узнает... Да не могла она украсть, она же закрывала глаза и качала головой: не бери. В случае подозрения посылается экстренное донесение. Домашняя, чердачная, бродячая, полевая. Подкладка шелковая. Сережа, вбейте гвоздик.

Хорошо, пусть она украла! Нищая, голодная, как эти воровавшие мальчики, дом сожжен, сын потерян, муж погиб в болотах. Пусть она соблазнилась лиловыми ландышами. Я не вобью в нее гвоздик. Я ее сын. Паня – моя мать, это решено, чтоб вы знали. А зачем он снял шубу с крючка? Эта шуба – Паниного мужа, это он должен был дойти, доползти, протянуть к крючку обгорелую руку – нет, не взял бы, побрезговал. А вы, ясновельможный пане, не побрезговали. А я женат на вашей дочери. Пал Антоныч мой отец. Иначе зачем он мучает меня пропавшей шубой, шевелит орденами, вздыхает за стеной? Скажи свое имя! Крепко взявшись за руки, цепь предков уходит вглубь, погружаясь в темный студень времени. Становись к нам, безымянный, присоединяйся! Отыщи свое звено в цепи! Павел Антоныч, Антон Феликсович, Феликс Казимирович. Ты наш наследник, ты валялся на нашей кровати, любил Леночку, ты не моргнув глазом ел наши булочки – каждая изюминка в них вырвана нами у домашних, бродячих, чердачных; для тебя мы кашляли страшной мокротой, вздувались бубонами, для тебя заражали верблюдов, плевавших нам в лицо, – не отмарашься от нас. Мы построили тебе, безымянному, чистенькому, дом, очаг, кухню, коридор, спальню, закут, зажгли лампы и расставили книги. Мы наказали поднявших руку на наше имущество. Али-Баба! – О чем, слуга? – Тяни рукава! – С какого конца?..

Паня брала у своих. А Пал Антоныч – у чужих. Паня призналась. А Пал Антоныч пострадал от наветов. Чаши весов выровнялись. А ты что сделал? Пришел, поел, осудил? В противочумных очках, в резиновых бахилах, с огромным шприцем шел Пал Антоныч на верблюда. Уж я смерть твоя, уж я съем тебя! И мыши болеют, и зайцы. Все болеют, все. Не надо кичиться.

Леночка не желала больше слышать про Сергееву шапку. Как будто нет других разговоров. И вообще... Дети, не кричите! Я не понимаю, кто она такая? Зачем она вышла за меня замуж? Если ей на все наплевать... Как в воде вымоченная... Не человек, а мыльная пена какая-то! Сережа, как громко вы кричите! Вылитый Павел Антоныч. Тихо, тихо. Леночке в ее положении нужен покой.

Леночка, не сердись на меня. Хорошо, хорошо, Сереженька. Вбей гвоздик – пеленки надо повесить. Ты бы лег в закуте, а то тебе Антошка спать не даст. Тень листьев падает на крошечное личико, на кружевную простыню; младенец спит, подняв стиснутые кулачки, лобик наморщен – силится что-то понять. Рыбки уснули в пруду. Птички уснули в саду. Кто там вздохнул за стеной? Что нам за дело, родной!

Спи спокойно, сынок, уж ты-то ни в чем не повинен. Чумные кладбища засыпаны известью, степные маки навевают сладкие сны, верблюды заперты в зоопарках, теплые листья шелестят над твоей головой – о чем? Не все ли тебе равно!

Круг

Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче.

В шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце днем и ночью с тобой. Шел себе и шел, с горки на горку, мимо сияющих озер, мимо светлых островов, над головой – белые птицы, под ногами – пестрые змеи, а пришел вот сюда, а очутился вот здесь; сумрачно тут и глухо, и воротник душит, и хрипло ходит кровь. Здесь – шестьдесят.

Все это, все уже. Трава тут не растет. Земля промерзла, дорога узка и камениста, а впереди светится только одна надпись: выход.

И Василий Михайлович был не согласен.

Он сидел в коридоре парикмахерской и ждал жену. Через раскрытую дверь видна была тесная, перегороженная зеркальными барьерами зала, где три... где три его ровесницы корчились в руках могучих белокурых фурий. Можно ли назвать дамами то, что множилось в зеркалах? С возрастающим ужасом вглядывался Василий Михайлович в то, что сидело ближе к нему. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в пол, схватила *это* за голову и, оттянув ее назад, на придвинутый жестяной желоб, плеснула кипятком – взвился пар; бешено взмылила пену; снова пар, и не успел Василий Михайлович привстать и крикнуть, как она уже, навалившись, душила свою жертву белой вафельной простыней. Он перевел взгляд. В другом кресле – боже мой – к побагровевшей, очень довольной, впрочем, голове, утыканной словно бы штырями, триодами, сопротивлениями, тянулись длинные провода... В третьем кресле он, вглядевшись, узнал Евгению Ивановну и пошел в ее сторону. То, что дома казалось ее волосами, теперь съежилось, кожа обнажилась, и женщина в белом халате тыкала туда жижицей на палочке. Удушливо пахло.

– Куда в пальто!!! – крикнуло несколько голосов.

– Женя, я все-таки пока пройду, сделаю кружочек, – махнул рукой Василий Михайлович. С утра он чувствовал слабость в ногах, бухало сердце и хотелось пить.

В фойе в больших кастрюлях росли какие-то жесткие зеленые сабли эфесами в землю, со стен глядели фотографии небывалых существ с нехорошими намеками во взгляде, а на головах-то! – башни, торты, крученые рога, или, как на пюре в столовках, – волны. Вот одной из таких хочет быть Евгения Ивановна.

Дул холодный ветер, и мелко, сухо сыпало с неба. День был темный, пустой, короткий, вечер родился уже на рассвете. В маленьких магазинчиках ярко, уютно горел свет. На углу прилепилась крохотная, сияющая, благоуханная лавчонка, коробка с чудесами. Да разве войдешь: все навалились друг на друга, тянутся с чеками через головы, хватают маленькое что-то. Толстуху задавили в дверях, она цепляется за притолоку, ее сносит встречным потоком.

– Дайте вытти! Да дайте же вытти!

– Что там?

– Блеск для губ!

Василий Михайлович вклинился в толчею. Женщина, женщина, есть ли ты?.. Что ты такое?.. Высоко на вершине на сибирском дереве испуганно блестит глазами твоя шапка; корова в муках рождает дитя – тебе на сапоги; с криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами; в предсмертной тоске бьется кашалот, рыдает крокодил, задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки – в коробках с летучей пылью, улыбки – в золотых футлярах с малиновой начинкой, гладкая кожа – в тубиках с жиром, взгляд – в круглых прозрачных банках... Он купил для Евгении Ивановны пачку ресниц.

...Все предрешено и в сторону не свернуть – вот что мучило Василия Михайловича. И жен не выбирают, они сами, неизвестно откуда взявшись, возникают рядом с вами, и вот вы уже бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам, и вас, стреноженного, с

кляпом во рту, обучают тысячам тысяч удушающих подробностей преходящего бытия, ставят на колени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна все бегут и бегут, догоняя друг друга, по кругу, по кругу, по кругу.

Василию Михайловичу открылось, чем чистить ложки и какова сравнительная физиология котлеты и тефтели; он помнил наизусть печально короткий срок жизни сметаны, и в его обязанности входило уничтожить ее при первых же признаках начинающейся агонии; он знал месторождения мочалок и веников, профессионально различал крупы, держал в голове все залоговые цены на стеклянную посуду и каждую осень протирал оконные стекла нашатырем, чтобы в корне уничтожить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме.

Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот, он доживет эту жизнь и начнет новую, в другом обличье. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность; то ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем. Василий Михайлович прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли и, откинувшись в кресле, долго глядел в зеркало на себя – одного-единственного.

Ничего не происходило. Не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзлось, не слышался глас с неба, никто не искушал, не возносил, не расстилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, повертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона, тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Кларой. У Клары дома все было такое же, как у Василия Михайловича, такая же чистая кухня, разве что окна на север, такая же тахта, и, ложась в крахмальную Кларину постель, Василий Михайлович видел в уголку подушки еще один телефонный номер; вряд ли там ждала его судьба, но, наскучив Кларой, он все же позвонил и обрел женщину Светлану с девятилетним сыном; в Светланином шкафу стопочкой тоже лежало, переложенное кусками хорошего мыла, чистое белье.

Евгения Ивановна что-то чувствовала, искала следы, рылась в его карманах, разворачивала бумажки, не подозревая, что спит как бы в страницах большой записной книжки, испещренной номерами Клариного телефона, а Клара дремала в телефонах Светланы, а Светлана покоилась, как выяснилось, в телефонах бухгалтерии райсобеса.

Женщины Василия Михайловича так и не узнали о существовании друг друга, впрочем, и с подробностями о себе самом Василий Михайлович не навязывался. Да и откуда бы у него взяться фамилии, должности, адресу, почтовому, скажем, индексу – у него, у пододеяльного, наволочного фантома, порожденного капризной случайностью прачечной канцелярии?

Василий Михайлович приостановил эксперимент не из-за райсобеса. Просто он понял, что попытка вырваться из системы координат не удалась. Не новый, небывалый путь с захватывающими дух возможностями открывался ему, не тайная тропинка в запредельное, нет; он попросту нашарил впотьмах и ухватил обычное очередное колесо судьбы и, перехватывая обод обеими руками, по дуге, по кругу добрался бы, в конце концов, до себя самого – с другой стороны.

Ведь где-то в толще городского клубка, в тугом мотке переулков безымянная старуха вбрасывает в маленькое деревянное окошко тючок с потрепанным бельишком, помеченным семизначной криптограммой; это ты в ней зашифрован, Василий Михайлович. По справедливости-то ты – старухин. У нее все права на тебя – а ну как предъявит? Не хочешь?.. И Васи-

лий Михайлович – нет, нет, нет, – не хотел чужой старухи, боялся ее чулок, и ступней, и дрожжей каких-нибудь, и скрипа пружин под ее белым пожилым туловищем, и еще у нее будет чайный гриб в трехлитровой банке – скользкий, безглазый молчун, что годами тихо-тихо живет на подоконнике и ни разу даже не всплеснет.

А тот, кто держит в руках свиток судьбы, кто предрешает встречи, кто посылает алгебраических путников из пункта А в пункт Б, кто наполняет бассейны из двух труб, уже пометил красным крестиком перекресток, где он должен был встретить Изольду. Теперь ее, конечно, давно уже нет.

Он увидел Изольду на рынке и пошел за ней следом. Глянув сбоку в ее голубое от холода лицо, в прозрачные виноградные глаза, он решил: пусть она и будет той, кто выведет его из тесного пенала, именуемого мирозданием. На ней была потертая шубейка с ремешком, хudosочная вязаная шапочка – такие шапочки десятками протягивали приземистые, плотные женщины, запрудившие подходы к рынку; этим женщинам, как и самоубийцам, возбраняется пребывание в ограде, отказано в упокоении за дощатыми столами, и тени их, твердые от мороза, бродят толпой вдоль голубого штакетника, держа на вытянутых руках стопки ворсистых блинов – малиновых, зеленых, канареечных, шевелящихся на ветру, а ранняя ноябрьская манка сыплется, сыплется, метет и посвистывает, торопится укутать город к зиме.

И Василий Михайлович, со стиснутым от надежд сердцем, смотрел, как робкая Изольда, продрогшая до сердцевины, до ледяного хруста тонких косточек, бредет сквозь черную толпу, и заходит в ограду, и ведет пальчиком вдоль длинных пустынных прилавков, высматривая, не осталось ли чего вкусенького.

Северные бури развеяли, выдули изнеженных торговцев летним капризным товаром, теми сладкими чудесами, что сотворены в вышине теплым воздухом из розовых и белых цветов. Но неколебимо стоят, примерзнув к деревянным столам, последние верные слуги земли, угрюмо раскинув холодную свою подземную добычу; ибо перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения – черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города.

И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанерных ящиков, мимо замусоленных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протягивающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскрашенных фотографий, мимо и мимо, печалась и дрожа, и настырная баба уже крутит, и нахваливает, и чешет перед ее голубоватым личиком яркое шерстяное колесо, терзая его зубастой железной щеткой.

Василий Михайлович взял Изольду за руку и предложил выпить вина, и винным блеском сверкнули его слова. Он повел ее в ресторан, и толпа расступалась перед ними, и гардеробщик принял ее одежды как волшебное лебединое оперение феи-купальщицы, спустившейся с небес на маленькое лесное озеро. Мягкий мраморный аромат источали колонны, в полумраке мерещились розы, Василий Михайлович был почти молод, и Изольда была как диковинная серебряная птица, изготовленная природой в единственном экземпляре.

Евгения Ивановна почуяла Изольдину тень, и рыла ямы, и натягивала колючую проволоку, и выковала цепь, чтобы Василий Михайлович не мог уйти. Лежа с сердцебиением под боком у Евгении Ивановны, он видел внутренним взором, как на полночных улицах сияет снежный прохладный покой. Нетронутая белизна тянется, тянется, и вот – плавно повернула за угол, а на углу – розовым светом полное венецианское окно, и за ним Изольда не спит, вслушиваясь в невнятную городскую метельную мелодию, в темные зимние виолончели. И Василий Михайлович, задыхаясь во мраке, мысленно посылал Изольде свою душу, зная, что она дойдет до нее по сверкающей дуге, что соединяет их через полгорода, невидимая для непосвященных:

Ночными вагонами в горле стучит,
Накатит – и схватит – и вновь замолчит.
Распятый, повис над слепую дырой,
Где ангелы смерти звенят мошкаррой:
«Сдавайся! Ты заперт в квадрате ночном,
Накатим – отпустим – и снова начнем».
О женщина! Яблоня! Пламя свечи!
Прорвись, прогони, огради, закричи!
И стиснуты руки, и скрючило рот,
И черная дева из мрака поет.

Василий Михайлович перегрыз цепь и убежал от Евгении Ивановны; они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал для нее двери своей душевной сокровищницы. Он был щедр, как Али-Баба, а она удивлялась и трепетала. Изольда ничего не просила у Василия Михайловича: ни туалета хрустального, ни цветного кушака царицы шемаханской; все бы ей сидеть у его изголовья, все бы ей гореть венчальной свечой, гореть, не сгорая, ровным тихим пламенем.

Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было. Теперь очередь была за Изольдой: она должна была обвить его своими слабыми голубыми руками и шагнуть с ним вместе в новое измерение, чтобы молния, сверкнув, расколола обыденный мир, как яичную скорлупу. Но ничего похожего не происходило. Изольда все трепетала да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. «Ну что, Ляля?» – говорил он, зевая.

Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан: собирался назад к Евгении Ивановне. Часы тикали, Изольда плакала, ничего не понимая, обещала умереть, под окном была слякоть. И чего нюни распускать? Вон взяла бы лучше и прокрутила мяса, котлет бы нажарила. Сказал: уйду, – значит, уйду. Что тут неясного?

Евгения Ивановна на радостях испекла пирог с морковью, помыла голову, натерла полы. Сорокалетие свое он отпраздновал сначала дома, а потом в ресторане, недоеденную рыбу и заливное они собрали в полиэтиленовые мешочки, и еще на завтрак хватило. Получил хорошие подарки: радиолу, часы с деревянным орлом и фотоаппарат ФЭД. Евгения Ивановна как раз давно хотела сфотографироваться на пляже в набегающей волне. Изольда не удержалась, подпортила юбилей: прислала какую-то дрянь в бумажке и стишки без подписи, детским почерком:

Вот на прощанье для тебя подарок:
Свечи огарок,
Шнурки от туфельек и косточка от сливы.
Вглядишься пристально и усмехнешься криво:
Такой была
Твоя любовь, пока не умерла:
Огонь, и легкий бег, и сладкие плоды
Над пропастью, на краешке беды.
Теперь-то ее давно нет.

И вот ему шестьдесят, и ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут и позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет

зареву на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли, и архангелы с тромбонами и саксофонами, или что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну что же они медлят? Он ждет всю жизнь.

Он ускорил шаги. Пока Евгении Ивановне бреют шею, варят голову и загибают волосы железными крючками, он успеет дойти до рынка, выпить теплого пива. Холодно, шуба-то паршивая, одно название, что шуба – фальшивая шкура на ложном меху, купленная Евгенией Ивановной у спекулянтки. «Для себя-то крокодилов обдирает», – подумал Василий Михайлович. К спекулянтке – за крокодиловой обувью, шубой и другими мелочами – ходили под вечер, долго искали нужный дом. На лестничной площадке была тьма, шарили ощупью, спичек не нашлось. Василий Михайлович тихо ругался. С изумлением нащупал на одной из дверей глазок на уровне колена. «Правильно, значит, сюда», – шептала жена. «Что же она, на четвереньках ходит?» – «Она карлица, цирковой лилипут». С замиранием сердца он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой, единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную, дышит живая тьма и среди звезд парит, дрожа на стрекозиных крылышках, крошечный полупрозрачный эльф, звенящий, как колокольчик.

Карлица оказалась старой, бешеной, злой, руками трогать вещи не позволяла. Василий Михайлович искоса разглядывал кровать с приставной лесенкой, детские стульчики, низко, над самым полом висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, стоя на крупе расфуфыренной лошади, в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через время, через прошедшую жизнь. А здесь, выхватывая из шкафов морщинистыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура Гулливером металась по стенам тень. Евгения Ивановна купила у страшной деточки и шубу, и крокодиловые туфли, и подмигивающий японский кошелек, и платок с люреksom, и шкурку песка на шапку, и пока, поддерживая друг друга, они на шаривали ногами путь вниз по темной лестнице, объясняла Василию Михайловичу, что песцовый мех надо чистить манной крупой, раскаленной на сухой сковородке, и что мездра воды боится, и что теперь надо купить полметра простой тесьмы. Василий Михайлович, стараясь ничего не запомнить, думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если ее посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь, и представлял себе, как молодая спекулянточка сидит в мрачном зарешеченном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через злоеущий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, и лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни, а стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.